



ШАН ХЬЮЗ

ШЕРЛ

Лонг-лист Букеровской премии

«Это элегия о взрослении и памяти, воплощенная
в воздушной прозе редкой красоты и искренности»
Наталья Ломыкина, литературный критик, обозреватель Forbes

Annotation

Лонг-лист Букеровской премии 2023!

Лиричный, наполненный эмоциями роман о семейном счастье, родительско-детской любви и преодолении травмы. Исчезновение близкого меняет не только настоящее и будущее, но и прошлое человека. Марианне было всего восемь, когда ее мать пропала, и воспоминания о солнечном саде, прогулках и ароматных пирогах будто померкли. Действительно ли жизнь их семьи была так безоблачна, если однажды мама просто вышла из дома и не вернулась? Этот вопрос мучит Марианну, ответ на него она ищет в старом доме и на берегу реки, у отца, соседей, в средневековой поэзии. Ищет ребенком, трудным подростком и взрослой женщиной, сама уже став матерью. Существует ли чудо, которое поможет ей вернуть себе счастливое прошлое, а вместе с ним изменить будущее?

«Выдающееся произведение — как роман, как размышление о горе и безумии и как глубоко прочувствованная блистательная фантазийная переработка поэмы XIV века, которая послужила источником вдохновения. Глубоко связанная с флорой, фауной и ритуалами Чеширской деревни, где выросла и сейчас живет писательница, роман создает мир, в котором язычество и средневековое христианство продолжают неявными и загадочными путями наполнять смыслом современность. <...> Книгу можно читать как чрезвычайно захватывающий психологический детектив. <...> По сути, это огромной силы элегия, преобразованная в прозу»

— Морин Фрили,

журналистка, писательница,–переводчица

«Захватывающе, убедительно, прекрасно написано; книга переносит миф и глубинные литературные течения в современную обстановку»

— Бернارد О’Донохью,

ирландский поэт, академик,

медиевист и литературный критик

«История о призраках, история из народа, история потери и семейного бремени, „Перл“ Шан Хьюз — это очаровательное и жуткое исследование того, как ребенок складывает древнее прошлое по косточкам — из средневековых стихов, — чтобы вновь услышать голоса потерянных близких. История о том, как мы рассказываем истории перед лицом зияющей бездны и глубокой печали»

— *Салли Бэйли,*
писательница,
преподавательница литературного
мастерства в Уодхэм-колледже
Оксфордского университета

«Голос Шан Хьюз трогает нас, потому что ей удалось овладеть сложным искусством письма о сильных чувствах через призму остроумия — а это редкое умение»

— *Хьюго Уильямс,*
английский поэт, журналист,
лауреат премии Т. С. Элиота

- [Шан Хьюз](#)

-

- [1](#)

-

- [2](#)

-

- [3](#)

-

- [4](#)

-

- [5](#)

-

- [6](#)

-

- [7](#)

-

- [8](#)

-
- [9](#)
-
- [10](#)
-
- [11](#)
-
- [12](#)
-
- [13](#)
-
- [14](#)
-
- [15](#)
-
- [16](#)
-
- [17](#)
-
- [18](#)
-
- [19](#)
-
- [20](#)
-
- [21](#)
-
- [Благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)

- 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
-

Шан Хьюз

Перл

Siân Hughes

PEARL

Шан Хьюз

ПЕРЛ

Перевод Дарьи Ивановской

**LIVE
BOOK**

Москва

2023

1

Бдения



*А и Б сидели на трубе.
А упало, Б пропало —
Кто остался на трубе?*

В конце каждого лета мы с Сюзанной ездим в мою родную деревню на своеобразное действо под названием «Бдения». Жители устраивают карнавал-парад, ставят аттракционы, а на лугу разводят огонь и жарят на вертеле целого быка. В моем детстве были еще гонки на тачках. Правила такие: двое мужчин и тачка должны были добраться до ближайшей деревни и обратно. Один толкал тачку, один ехал. Обязательное условие — выпить по пинте пива в каждом оказавшемся на пути пабе. А еще игроки обязательно наряжались:

один был мамашей в живописной ночной сорочке, с грудями из воздушных шаров, жирно напомаженными губами и волосами, накрученными на бигуди, а второй изображал младенца в чепчике, слюнявчике и подгузнике из огромного банного полотенца.

На старте циклопический младенец сидел в тачке, а мужик в бигуди и помаде толкал ее вперед, но для победы просто необходимо было меняться местами, и потому за ближайшим поворотом дитя выскакивало из тачки, мамаша запрыгивала — шарики лопаются, подгузник разматывается, — и теперь уже бородатый младенец толкал тачку со своей не менее бородатой мамулей.

Теперь нет никаких гонок на тачках. На дорогах стало слишком опасно, полиция запретила.

Бдения проводятся довольно давно. Начинались они как некое подобие Камышовой недели, такими и остаются. Когда-то полы в церквях устилали камышом; в это время года старый камыш с пола убирали и заменяли новым. Сейчас мы украшаем камышом могилы близких. Он растет на полпути от Дакингтон-лейн, за воротами позади старого тира, в низине, и мы сворачиваем туда.

Придется переобуться в резиновые сапоги. Достая секатор, выпускаю собаку из переноски. Пес, мгновенно учуяв что-то интересное, начинает носиться кругами прямо в створе ворот. Сюзанна говорит, мол, нет, спасибо, лучше я в машине подожду. Ей неинтересно резать камыш, в ее-то тринадцать. Открываю заднюю дверь, повторяю просьбу. Она вздыхает, соглашается — ну раз уж мы все равно приехали, — убирает свой телефон и тоже переобувается.

Кто-то уже успел срезать весь растущий с краю годный камыш. Стеблей с хорошими черными наверхиями почти не осталось. Сюзанна совсем легкая, ей удастся пройти по вязкой грязи и срезать несколько неплохих растений почти в середине посадки. В машине я даю ей задание связать камыш лентами. В этом году я выбрала голубые и лиловые. В камыши вплетается лаванда и мята из сада перед нашим домом. Пока она связывает стебли, их запах въедается ей в кожу рук и в обивку машины.

Маленького пучка нам хватит. Потому что и могилка небольшая. Это, в общем, и не могилка даже — так, могильный камень, причем даже не над местом захоронения праха. Сюзанна очень здорово оформила камыш. Бабушка бы ею гордилась. Именно от бабушки она

унаследовала маленькие сильные руки и ноги, огненные блики в волосах и нежно поскрипывающий певучий голос.

В церковь мы успеваем как раз к началу Бдений. Служба представляет собой что-то вроде общих поминок, знаменующих открытие фестиваля. Священник зачитывает имена всех погребенных прихода в этом году, целым списком. Звучит очень красиво — будто стихотворение или заклинание. Последовательность старых фамилий, выбитых на надгробьях, принадлежавших семьям, жившим тут испокон веков, — Хьюитт, Хаксли, Лече, Праудлав и иже с ними, новопреставленные. Я ежегодно прихожу на эту службу и слушаю, хотя в этом списке никогда не звучали имена моих родных.

После службы мы идем с нашим камышовым букетиком на кладбище за церковью, где остальные семьи приводят в порядок надгробья, наполняют вазы, раскладывают на покрывалах еду. Дело в том, что на Бдения собираются вообще все. Многие едут издалека. Я переехала отсюда еще в возрасте Сюзанны, но тоже постоянно приезжаю.

Расстилаю у надгробья покрывало, достаю сэндвичи и вареные яйца, сверточек с солью и перцем. Я испекла овсяные лепешки с патокой по маминему рецепту. Как всегда. Разглядываю окружающих нас людей, пытаюсь угадать, кто чей родственник, читая надписи на могильных камнях, у которых они расположились, всматриваясь в лица детей, выискивая сходство с теми, кого я знала в начальной школе.

Я не верю в воскрешение плоти. Совсем. Но если вдруг наши покойники разроют дерн и выберутся на поверхность, вытряхивая землю из волос, моргая от яркого солнечного света, зрелище это не особенно будет отличаться от обычных Бдений возле Тилстонской церкви. Разве что народу станет чуть побольше. В конце каждого августа на этих разноцветных покрывалах у семейных могил мы все похожи на пришельцев с того света: воплощенные плоть и кровь наших предков, с их плохими зубами и хрупкими лодыжками, мы передаем друг другу сэндвичи и печенье.

Интересно, мертвым полагается воскресать в том же возрасте, в котором они умерли? Если да — то моей маме повезло. А вот страдавшему артритом двоюродному деду — не очень.

Я вспоминаю его, деда Мэтью, чье надгробье, расположенное рядом с тем, у которого мы сидим, почти целиком покрылось лишайником: пансионат, подготовка к дневному сну, мой двоюродный дед поднимается по лестнице — одна ступенька за раз, скрюченная рука крепко вцепилась в перила. Непросто ему будет вылезать из могилы на своих несчастных отечных коленках. Он вечно останавливался на середине лестницы и говорил: «Caesar se recipit in hiberna» («Цезарь удаляется в зимнюю резиденцию»). Якобы из всей школьной программы он запомнил только эти слова. Я все думала, это означает «собираюсь вздремнуть», а потом сверилась с библиотечными справочниками.

Никто не хочет сюда приезжать. Ни папа, ни брат. Ни разу не появились. Когда я говорю, что на Бдениях будут все, папа смотрит на меня долгим печальным взглядом. С моих восьми лет он постоянно твердил, что мамы больше не будет. Теперь даже эти слова уже не нужны — я и без них понимаю, что означает этот его взгляд. Но если бы вдруг она вернулась, то где же еще стала бы нас искать? И как бы она меня узнала, не сиди я у этого надгробья, такая похожая на нее, какой она была тридцать лет назад? Как бы ее узнала я?

Если бы она вдруг оказалась здесь, на кладбище, и потребовала подтверждения, что я — это я, я бы спела ей. Я бы спела «Зеленую тропку». Я и так все время ее напеваю — когда, например, развешиваю белье или ночью еду одна в машине. Мне нравится считать эту песню своей, хотя я прекрасно знаю, что она гораздо старше меня, старше той малютки, которой мама ее пела много лет назад.

Зеленая тропка,
Трава зелена.
Моя ты красotka,
Юна и нежна.
Вот всё для тебя —
Молоко и шелка,
И золотом имя
Выводит рука.

В детстве мне и в голову не приходило, что это песня о могиле, зеленой могиле. Мне казалось, в ней поется о дорожке, канавке, промытой дождем посреди поля. Кого там могут хоронить? Молоко — это, наверное, для новорожденного, чистейшего, невиннейшего создания, не оскверненного ни малейшим дыханием жизни. И пока я думала, что мама поет песню для меня, она на самом деле пела ее для другого ребенка, того самого, что покоится под надгробьем размером с обувную коробку, где выбита одна-единственная дата, в которой и рождение, и смерть.

Я до сих пор временами мысленно разговариваю с мамой. Когда родилась Сюзанна, я искала ее глазами; я подняла взгляд от лица новорожденной дочери в поисках маминого лица, мне хотелось, чтобы она взглянула на нас и признала, что вот она — самая нежная и юная красотка в мире. Я хотела, чтобы она спела со мной. Я шарила глазами по сторонам и плакала. Акушерка спросила, типична ли послеродовая депрессия для женщин нашей семьи. Я сказала — нет. Только горе. Для женщин нашей семьи типично горе. Передаем из поколения в поколение, как иммунитет при грудном вскармливании. Как песню.

2

Паутина Шарлотты



Паутина Шарлотты



*Летела корова,
Лянула слово.
Какое слово
Сказала корова?*

Не помню, что было дальше, после того, как я это сказала. Я тогда много подобного говорила. Я была слишком не в себе, чтобы

запомнить последовательность событий. Какие-то люди приходили, что-то говорили. Большинство были добры ко мне. Некоторые смотрели на меня так, как обычно смотрят учителя или полицейские — будто бы ищут в лице признаки дефектности, изъяна.

(В восемь лет мне казалось, что в моем лице они искали причины исчезновения мамы. Что-то такое ужасное во мне, из-за чего мама однажды вышла за дверь и не вернулась. Став старше, я предположила, что они могли искать сходство, «красные флаги», указывающие, что я могу повторить ее путь.)

Спустя несколько визитов все их лица слились в одно. Я не так чтобы очень внимательно их слушала. Сюзанна росла настолько бодрым херувимчиком, что ее бодрость даже передавалась мне. Я должна была научить ее улыбаться. У меня не было выбора, кроме как улыбаться самой.

Вопросы вернулись год назад, когда Сюзанна сидела дома на больничном после тонзиллита. Ночью я услышала, что она ходит по дому, и поднялась принести ей стакан воды. Обнаружила я ее посреди комнаты, на полу; она резала на мелкие кусочки свою подушку и раскладывала их вокруг себя. Крошечные перышки облаком взлетали над ее плечами.

— А что ты делаешь? — спросила я, стараясь не дрогнуть голосом. Она не оторвалась от своего занятия.

— Тут несколько часов сидела одна такая, вся кудрявая. У тебя радио слишком громко работает, и еще с ног что-то странное течет.

Я прикоснулась к ее лбу. Когда ей было четыре, она болела отитом с очень высокой температурой и в бреду скакала по кровати, пытаясь поймать каких-то птичек, но в этот раз лоб не был даже теплым. Наоборот — кожа казалась прохладной после долгого сидения на полу среди ночи.

Пол подо мной поплыл. Я вспомнила это ощущение, оно было связано с мамой — мы сидели с ней в кухне, и она время от времени говорила что-то странное. Секундное чувство. Я даже не поняла, какое именно воспоминание о маме было вызвано галлюцинациями моей дочери, но в тот миг из-под моих ног будто выскользнула доска пола, а потом резко скользнула обратно, вернув меня почти на то же место, где я стояла. Почти — но не совсем — на то же самое.

Я оперлась рукой о дверной косяк и изо всех сил всмотрелась в окрашенную древесину, в свою руку теперь уже взрослого человека с краской под ногтями, в стену, цвет которой Сюзанна выбирала сама — на жестянке с краской был указан оттенок «океанский бриз». Я подала ей воду, а сама ушла вниз, звонить врачу.

В этот раз я была готова к вопросам. Мне хватило сил смотреть докторам в глаза и рассказывать: «Моя мать ушла из дома, когда мне было восемь, и ее так и не нашли. Брат был совсем младенцем. Нет, у нее не было никаких диагнозов, она пряталась от врачей. Ото всех пряталась. Я была на семейном обучении, потому что — я не знаю почему. Да, у меня неоднозначный семейный анамнез. По сумасшествию». В этот раз я назвала другое слово. Сумасшествие? Горе? Речь все равно об одном.

Сообщая о семейном обучении, я почувствовала себя предательницей. Я как бы отвечала на вопрос, который мне даже не успели задать. Почему? Почему она обучала меня дома? Люди постоянно спрашивали, что с ней. Чего она боялась? Я не знаю. Больших зданий? Учителей? Других родителей? Выходить из дома? Мне никто никогда не задавал вопросов, на которые так хотелось ответить: чем ты целыми днями занималась? Чему она тебя учила? Как это было?

Она читала мне о падении Иерихона из Библии короля Якова, «Алису в Стране чудес», «Маленькую принцессу», мы выращивали стручковую фасоль над лестницей, делали ульи из пробкового дерева, пели народные песни о цыганах на все лады, шили тряпичных кукол и крестили их в ручье, мы держали кроликов и утят, набирали полные корзинки малины и делали витражи из теста и расплавленной карамели.

Мое первое знакомство со школой подтвердило, что дома куда лучше, и если сейчас меня спросить, почему я была на семейном обучении, я привычно отвечу: потому что у моей мамы отлично получалось. Как оказалось, нам с ней было отведено мало времени, и потому я рада, что мы провели его вместе. Только став матерью, к своим тридцати годам, я научилась мыслить именно так, обрела смелость защищать маму, отстаивала свое право помнить о ней хорошее.

Когда человек лишает себя жизни, он или она не только выбивает будущее из-под ног оставшихся, но также оскверняет их прошлое.

Становится тяжело помнить хорошее. А ведь никто не заслуживает быть судимым только за те пять минут жизни, в которые проявил себя хуже всего, — пусть даже это оказались последние пять минут.

Как часто я хотела с ней поговорить, пока Сюзанна была маленькая. Рассказать, что Сюзанна сказала новое слово, или впервые сама застегнула пуговицу, или научилась обуваться. Я хотела задавать ей дурацкие вопросы — например, можно ли добавить шпинат в рисовую кашу? Не будет ли это омерзительно?

Я до сих пор хочу к ней. Я бы ей сказала: у проблемы есть другое имя, можно не жить всю жизнь в таком ужасе. Есть таблетки, есть терапия, есть кураторы, есть консультанты, которым можно сказать, что снова видишь ангела на лестнице.

Я бы сказала ей: ты не виновата в своей болезни. Я помню тебя. Помню лучшее в тебе. Я помню сад, длинный кухонный стол, за которым мы делали картофельные штампы, вырезали фигурное имбирное печенье, а потом сидели у окна, и ты читала мне «Паутину Шарлотты», чтобы я отвлеклась и не расчесывала ветряночные волдыри.

Я помню слова «Зеленой тропки». Я помню, как мы рассыпали по полу соль, чтобы к нам не пробрался дьявол, вешали на кухонное окно бутылочки с водорослями, чтобы отгонять злых духов, я помню, как обгрызала с пальцев соленое поделочное тесто, как пахло дегтярное мыло в ванной на первом этаже, как скрежетала задняя дверь по шершавому каменному полу. Я храню все это внутри. Я поглотила эти воспоминания и отказываюсь отпустить хоть одно из них.

Дом был полон секретов: из поколения в поколение здесь что-то доделывали и переделывали, между комнатами появлялись дополнительные ступеньки, углы упорно промерзали, а окна были как минимум четырех разных конфигураций. Этот дом был свадебным подарком моим родителям от двоюродного деда Мэтью: разваливающееся здание и полный сарай его незавершенных изобретений, которые в основном представляли из себя садовый и прочий инвентарь, приспособленный для инвалидов-колясочников и ампутантов.

Моя мама махнула на дом рукой и занялась выращиванием трав: взяла и разбила почти двухметровую клумбу на углу садовой стены.

Она всю жизнь прожила в городе и понятия не имела, как выращивать растения. Сажала она их наугад, круглый год, и содержимое грядок то переопылялось, то шло в ботву, то вообще погибало — как карта ляжет.

Мамин сад одичал задолго до нашего отъезда. Земле нужно совсем немного времени, чтобы взять свое. Если считать сорняком каждое растение, сидящее не на своем месте, то за годы, пока мы в доме ждали маминого возвращения, сорняками в ее саду стало все. А возможно, нет никаких «до» и «после». Возможно, даже под ее присмотром растения и так делали все, что хотели.

Мы не то чтобы тяготели к такому упадку с гниющими посреди дорожек кучками травы и расползающимися краями грядок. Но мы и не пытались навести порядок. Яблоки падали на траву, в них ползали осы, а мы ели сладости из пластиковых коробок, которые ей бы ни за что не понравились.

Мы отказались от ее запрета на телевидение и полуфабрикаты. Бросили вызов, так сказать. Как бы наложили заклятие беспорядка, чтобы она вернулась в гнев и привела все в должный вид. Я злилась и нарочно надевала ночные сорочки с диснеевскими героями, играла с пластиковыми лошадками с радужными хвостами и ела фастфуд прямо в машине, потому что не хотелось бежать с едой в дом под дождем.

Мы так и не смогли ничего рассказать о ней Джо. Мы пели ему песенки из рекламы и по кругу включали «Короля Льва». Нам не удалось воспитать его так, как она бы того желала. Когда он учился говорить, в его активном словарном запасе не было упоминаний о ней. Он был нашим спасением, нашей слепой зоной, нашим волшебным забвением, и мы прикрывались им от всего мира. Теперь мне так жаль, что я не пыталась сохранить ее в его сознании.

Настало время, когда мы снова начали говорить о ней, но период молчания был слишком долог. Наши версии событий больше не совпадали, и мы не могли понять, чья правильная. Я до сих пор не уверена, вспоминаю ли я то, что было при мне, или же то, что мне рассказывали другие.

Ветрянкой я заболела уже в школе — это логично. Где бы еще я могла заразиться? Но кто тогда читал мне «Паутину Шарлотты» на подоконнике в кухне, отводя мои пятнистые руки от моего же лица?

Папа, что ли, с работы отпрашивался? Или это была одна из нянь? Был ли вообще этот подоконник? Я помню синие шелковые подушечки в китайском стиле. А папа говорит, что никаких шелковых подушек в доме никогда не было. Ему вообще кажется, что подушки на подоконнике были бархатными.

Под вопросом даже песни о цыганах. Я помню, как разыгрывала целое представление, носилась по саду, качалась на бревне, изображавшем лошадь, падала в высокую траву и пела: «Сегодня усну на широком лугу, среди развеселых цыган, о!»

Еще помню такое: «И туфли испанские мне не нужны, и высокие каблукы, о!» Я доставала из маминого шкафа туфли и швыряла их за картофельную грядку, а потом в потемках разыскивала их с фонариком. А папа говорит, что мама никогда не носила туфли на каблуках, да и с чего бы ей отправлять меня их искать в темноте? Куда бы она в них шла? Бессмыслица какая-то.

Знаю, что бессмыслица. Мать оставляет новорожденного младенца спать в люльке, а сама уходит через кухню и не возвращается никогда. Даже не останавливается, чтобы закрыть за собой дверь.

Я буду отстаивать все, что помню с тех времен. Пусть говорят, что все было не так или не тогда. Это мои воспоминания. Синие шелковые подушечки на подоконнике. «Паутина Шарлотты». Имбирные человечки с пуговками из ягод смородины. Стручковая фасоль на лестнице. Туфли на шпильках за картофельной грядкой. Бревно-лошадь.

И руки мамы, подтыкающие мне на ночь одеяло, пахнущие мятой и листвой, и дразнящая песенка: «И перина высокая мне не нужна, и простыни смело прочь, о!» Всю жизнь я перетряхивала эти простыни, о, смело заправляла постель, и ее голос звучал для меня той песней. Как же часто мне приходилось быть смелой.

3

Девять бусин кряду

3



Девять

бусин кряду



*Раз, два, три, четыре, пять.
Нам друзей не сосчитать,
А без друга в жизни туго,
Выходи скорей из круга.*

Где я могу отчетливо представить маму с полной уверенностью, что память меня не подводит, так это в саду. Она сидит в тени под яблоней, тень очень резкая, значит — лето. Под деревом приткнулся

кухонный стул, а возле него стоит красно-золотистая плетеная корзинка со швейными принадлежностями. Мама пришивает именные бирки на серую школьную форму.

Я подглядываю за ней из-за клумбы. Там растет что-то вроде молочая. Семенные коробочки нагреваются на солнце, раздуваются, истончаются и в конце концов лопаются, веером разбрасывая семена. Я смотрю на две коробочки, делая ставку, что первой лопнет та, что ближе ко мне.

Рядом с мамой на земле лежит коврик, а на нем —несколько тарелок. Я утащила ложку джема, и теперь тщательно облизываю ее, пока сижу в засаде. Мама говорит: «Марианна, даже не думай сунуть облизанную ложку обратно в банку». Я всегда считала, что у мамы сверхъестественные слух и зрение. Она поддерживала эту веру. Особенно когда дело касалось еды.

Возле мамы на земле лежит целая куча серых жакетов, красных свитеров и школьных блузок с круглыми воротничками, на которых она уже вышила мое имя. Если буду хорошо себя вести, она отдаст мне оставшиеся бирки для игры: на них витиеватые красные надписи, они идеально подходят в качестве повязок для кукольной больницы. Если закрасить фломастером пробелы в буквах, они вполне сойдут за образцовые кровавые пятна.

Это могло быть воспоминание из любого лета, когда мне было от четырех до восьми. Мне кажется, тогда мне было семь. В тот год я прочла «Шпионку Гарриет», а потом большую часть лета подглядывала за родителями из молочайных зарослей. Каждый год появлялись большие зеленые пластиковые пакеты со школьной формой, каждый раз мама садилась в саду и нашивала на них именные бирки, а потом развешивала вещи в шкаф, где они дожидались сентября. Иногда мне разрешалось их надеть и показаться папе при полном параде. Но в школу я не пошла ни разу.

Каждый год в середине сентября наступал папин день рождения, а я так и не была в школе. Однажды я спросила, можно ли мне туда сходить. И меня отвели в госте к девочке, жившей по соседству, — ее звали Пиппа, она ходила в сельскую школу. У Пиппы в доме была специальная комната, «игровая», а также шесть изящных кукол с длинными холеными волосами и множеством нарядов. Особенно

меня впечатлили туфли. У моих кукол никакой обуви не было. Я спросила Пиппу, как зовут ее родителей.

— Кого? — переспросила она.

— Родителей, маму и папу. Как их зовут?

Она озадачилась. Потом ответила:

— Никак их не зовут. Просто Мамочка и Папочка.

Я расхохоталась.

— А как же их называли в детстве? У них ведь были имена, когда они были маленькими.

Она снова захлопала глазами.

Когда за мной приехала мама, Пиппа все еще на меня сердилась. А по пути домой, уже в машине, папа спросил, хочу ли я учиться в школе вместе с Пиппой. Я ответила: «Как собеседница она не очень, но у нее красивые куклы». Родители обменялись долгими взглядами. Я понимала их значение: в школу я не пойду. Что-то было не так со словом «собеседница». На следующий день никакой формы в шкафу уже не было.

Не представляю, куда девались все эти вещи для школы. Их точно не могли сдать обратно в магазин, потому что именные бирки были уже пришиты. Когда я наконец пошла в школу — посреди учебного года, потому что никто не знал, что со мной еще делать, — нам не удалось найти ни единого белого носка, ни одного красного свитера. В шкафу лежали только простыни, полотенца и детские вещи, из которых я выросла. Папа был озадачен не меньше остальных. Куда все подевалось? Куда она их спрятала? Машину она не водила — то есть отвезти кому-нибудь не могла. Сожгла, что ли?

Я явилась в класс посреди недели, посреди четверти, в ярко-зеленых вельветовых брюках с розовыми заплатками-сердечками на коленках и в джемпере ручной вязки, украшенном цветными бусинами вокруг манжет. Мы сидели в кабинете завуча, папа пытался заполнить документы, Джо рыдал и капризничал, а тем временем прошла уже половина урока математики. Завуч проводил меня в класс и оставил перед учительским столом. Ученики притихли.

Все уставились на меня. Я знала, почему они так таращатся. Ученики никак не могли понять, почему я такая странная. Мне и самой было интересно. У них на лицах было написано: все дело в нелепой одежде, в растрепанных косичках, потому что папа не умел меня

аккуратно заплетать, да и учительница была того же мнения. Когда она сказала: «Думаю, многим бы хотелось такой интересный джемпер, Мари», я поняла, что никуда не пойдешь. Настолько не пойдешь, что и джемпер у меня неправильный, и имя мое надо бы сократить. Я даже поправлять ее не стала.

Она сказала, что раз я пропустила так много материала, то лучше мне сесть с детьми помладше. За нашим столом я была выше всех, эдакий нелепый великан в цветных одежках, и оказалось, что мои соседи и соседки — все как один плохие собеседники. В тот же миг я поняла, что единственный способ здесь выжить — это сделаться невидимкой, а вот быть выше всех на голову и шире всех в плечах, носить имя, которое кажется учителям слишком длинным, плюс еще эти бусины на рукавах, которые стучат и шуршат по крышке парты — это никуда, никуда, никуда не годится.

Я бы не задержалась долго за крошечной малышовой партой, не упиралась бы коленями в стол, если бы только не утратила умение читать. Я прекрасно помнила все, что прочла до ее исчезновения. Я наизусть знала историю об Элизабет Фрай^[1] и тюрьмах. Я могла в деталях описать домового Смита^[2] и его многочисленные одежды, слившиеся с кожей, потому что он никогда не переодевался. Но я никак не могла понять, почему все слова, напечатанные в школьных учебниках, не имеют ни малейшего смысла. Это шутка такая?

Я сказала, что умею читать и понимать родной язык в том виде, в котором он представлен в моих домашних книжках. Нельзя ли мне их принести вместо этих? И даже когда мне доказали, что никто меня не разыгрывает с особой жестокостью, что злую шутку со мной сыграл мой собственный разум, я все равно не отказалась от своих подозрений. Я продолжала косо зыркать из-под слишком длинной челки и бормотать заклинания, которые защитили бы меня от их порицания.

Впервые в жизни я поняла, что никто из членов семьи не поймет ни слова из всего, что я могла бы рассказать. Едва я попала в школу, как оказалась предоставлена сама себе. Я научилась пожимать плечами, говорить «все нормально», и я вроде как не помнила ни что ела, ни что читала, ни тему урока. Всё мимо всех.

Еще надо было научиться поднимать руку и задавать вопросы. Я тренировалась: часто тянула руку вверх, но сказать было особо

нечего, так что я просто отпрашивалась в туалет. Туалеты находились за главным корпусом — две бетонные ступеньки, и ты на месте. В кабинках были здоровенные зеленые деревянные двери с тяжелыми задвижками, прищемлявшими пальцы. Я сидела там с немеющим от холода задом, пока учительница не присылала «кого-нибудь деликатного» привести меня обратно в класс.

Я жевала плетеные петли на рукавах, и когда нитка рвалась, я заглатывала бусинки, по девять штук, отсчитывая их языком, прокатывая по нёбу. Иногда я сидела в туалете так долго, что бусинки, проглоченные днем ранее, выходили естественным путем, вперемешку с дерьмом, и я внимательно следила, как все это добро исчезает в канализации.

Когда я порвала первую петлю, то забеспокоилась: что же скажет мама, обнаружив дома порчу джемпера. Она всю зиму его вязала, чтобы я не ревновала к малышу, которому она делала целую кучу одежек. Мы вместе сидели на диване, в нашем любимом уголке, я набирала бусинки, по девять штук — мы сделали для них специальную коробочку из упаковки от рисовых хлопьев. Потом я подумала: вот она увидит джемпер и поймет, как мне тяжело в школе, и больше не придется туда ходить. Мы достанем коробку от рисовых хлопьев, разложим бисер и вместе все починим, пока не останется ни намека на время, проведенное не вместе.

Но вот следующая петелька из девяти бусинок уплыла в канализацию, а потом еще одна, а мама никак не возвращалась, чтобы все починить. А потом я обгрызла манжеты, и рукава стали распускаться длинными дорожками до самых локтей. Тогда я поняла, что дочь из меня плохая. Я испортила джемпер, который она связала специально для меня, и другого уже никогда не будет. Потому что она больше не вернется.

4

Выкипающий чайник



Выкипающий чайник



*Раз, два, три —
Чаю завари!
В чайник прыгнул паучок
И сидит внутри!
Папа, прибегай скорей,
Сам посмотри!*

Я отчетливо помню тот момент, когда полицейские перестали искать живого человека и приступили к поискам тела. Конечно, спустя столько времени его уже невозможно было бы опознать. С того дня они звонили папе и говорили, что нашли не «кого-то», а «что-то». Нашли что-то в лесу. Нашли что-то в реке. Что-то.

Он ездил с ними посмотреть на находку. С нами приезжала посидеть Линдси, или ее сестра Мэл, или, если дело было ночью, они обе, потому что наш дом казался им «жутким». Они приносили с собой тортик или разноцветные пирожные, поили меня горячим шоколадом и разрешали допоздна смотреть детективные сериалы. Я годами думала, что они специально выбирали программы. Эдвард уезжал беседовать с полицией, а я смотрела передачи, в которых детективы всегда раскрывали дело. До недавних пор мне даже в голову не приходило, что мне просто включали то, что шло в эфире. Обычный набор вечерних программ, которые показывали, когда я уже ложилась спать.

Эдвард возвращался домой, отрицательно мотал головой, и никто не говорил ни слова. Сейчас он сожалеет о том, как проходили эти опознания, где он встречался с другими семьями — чужими мужьями, женами, родителями, взрослыми детьми, которые тоже приезжали в надежде, что полиция нашла *что-то*, что искали они сами. Сожалеет, что не разговаривал тогда с ними, не брал их адреса, не обещал быть на связи, не интересовался — нашли или еще нет? Нашлась? Нашелся? Можно было организовать группу поддержки и регулярные встречи в формате пикников. Но нет. Что-то мешало ему смотреть остальным в глаза и спрашивать: кого вы ищете? Что-то мешало остальным смотреть в глаза ему и задавать тот же вопрос.

Он возвращался домой, а я ждала от него историй. Вот бы он рассказал, почему эти люди там оказались, кого искали, кто исчез из их жизни. Я хотела знать: как случилась потеря? Вся семья ушла за покупками, и кто-то пропал на парковке? Все уехали в отпуск, и кто-то потерялся на пляже? Кто-то ушел из дома, как у нас? Пропавшие недели пальто или исчезли в чем были? Они взяли сумки или какие-то вещи? Может, деньги? Им было куда еще пойти?

Я собирала истории утрат, потерь, стыда; отец Сюзанны был первым, кто рассказал мне нормальную историю исчезновения. Если

память мне не изменяет, я влюбилась в него задолго до того, как он рассказал мне об исчезновении его собственной матери. Возможно, я уловила какой-то исходящий от него сигнал, увидела признак брошенности. Его мать ушла из дома, и он спросил отца, когда она вернется, а тот в ответ распахнул дверцы гигантского шкафа в их спальне. Пустого шкафа. «Тут обычно лежат ее вещи, — пояснил он. — Так что она, похоже, не вернется». Такие дела. Пустые вешалки, тихонько постукивая, качаются на штанге. Пахнет древесиной и больше ничем. Ему было столько же лет, сколько и мне, когда моя мать исчезла. Он прекрасно помнил ее уход. Не сам момент ее отбытия, конечно, но момент осознания — определенно. У меня же не было ничего. Признаюсь, был соблазн присвоить себе его опыт. Он гораздо лучше моего.

А что же помню я? Я помню, как к нам приходили полицейские. Тот, что постарше, разговаривал с Эдвардом, а молодой сидел за кухонным столом и разглядывал собственные руки. На его шее, где воротничок натер кожу, виднелась сыпь. Я стояла у плиты позади его стула и прикидывала, как бы поставить чайник. Я раньше никогда не кипятила воду в чайнике. Мне не разрешалось трогать плиту. Однако я знала, что так полагается делать, когда кто-то приходит в твой дом и сидит в кухне будто бы в ожидании.

Джо плакал в люльке на полу. Мне нельзя было брать его на руки самостоятельно. Это правило было гораздо более строгим, чем правило о чайнике. Мне никто напрямую не запрещал кипятить воду в чайнике. Не было повода. Но правило насчет младенца было весьма конкретным: можно погладить его по личику, можно развлечь его игрушкой или погремушкой. Песенку можно спеть, за ручку подержать. Но брать на руки — нет.

Пол в кухне был неровный и каменный. Если вдруг мама была в ванной, или наверху, или развешивала в саду белье, или говорила по телефону в гостиной, а Джо принимался плакать, — я все равно ни в коем случае не должна была вынимать его из люльки. В люльке он в безопасности. Слезы ему не навредят, в отличие от каменного пола. Ножки можно целовать, а щечки — не надо, потому что можно чем-нибудь заразить. Надо переодеть — кладем пеленку на пол, а не на стол. Не давай ему ничего тянуть в рот, не то проглотит. Руки мой с мылом.

Так что я сидела возле люльки, пока он плакал, пыталась развлечь его песенкой, целовала ему ножки через ползунки и играла в «ку-ку!» Он рыдал все громче и громче, чайник кипел и кипел, а пар заполнял кухню. Это был такой чайник, который ставят на огонь, он не отключался сам. Не знаю, сколько мы так просидели. Вроде бы недолго. Не помню — это Эдвард пришел и убрал чайник с плиты, или полицейский наконец встал и сделал это сам.

Не знаю, кто из них взял малыша. Перед глазами стоит образ: Эдвард ходит туда-сюда по кухне с ребенком, похлопывает Джо по квадратной спинке размером с его ладонь, тот икает, срыгивает молоко, оно стекает по папиному пиджаку. Но из какого дня этот образ? Сколько раз я видела одно и то же? Ежедневно. Долго. Не представляю, в каком порядке должны идти эти воспоминания.

Как я могла не заметить, что она ушла? Как пропустила тот миг, ту секунду, когда она вышла за дверь? Годами пытаюсь понять. А если бы я увидела и пошла за ней? Если бы я повела ее посмотреть, что я там навырезала из бумаги? Или попросила сделать мне куклу-трубочиста? Или догнала ее на полпути к реке? Она ушла без резиновых сапог. Вот бы я побежала за ней в хорошей обуви и испачкалась? Может, она бы тогда вместе со мной вернулась переобуться? Возможно.

Нет, она не бросила нас одних, не думайте. С нами была миссис Уинн. В том году миссис Уинн постоянно приходила помогать по хозяйству, потому что родился Джо. Она обычно приезжала после обеда. Мама уносила Джо в свою спальню, кормила его и спала вместе с ним, а я тихо занималась своими делами, чтобы не потревожить их сон. Миссис Уинн складывала детские вещи, убирала посуду и сидела со мной, пока я переписывала стихи в свою тетрадку. Иногда она играла со мной в настольную игру.

Она не включала пылесос, чтобы никого не разбудить. Она мыла полы и чистила картошку на ужин. Когда она наклонялась, из-под юбки выглядывали коричневые резинки чулок. Она повязывала мне кухонное полотенце вместо фартука, и мы вместе пекли капкейки. Ее мягкие руки были сами похожи на тесто, и пока она заправляла мне полотенце в джинсы, вокруг витал аромат ванили. Она ничему не удивлялась. Ни когда на игральном кубике выпадало «шесть-шесть», ни яйцу с двумя желтками.

Когда мама с Джо спускались вниз, миссис Уинн заваривала чайник чаю. Они с мамой выпивали по чашечке, умилялись младенцу, я показывала маме результаты своих трудов, а потом миссис Уинн уезжала на своем медленном разболтанном велосипеде. В дождь она прикрывала свою завивку пластиковым капюшоном. Даже не скажу, сколько времени она обычно у нас проводила. Час или два.

И я также не могу сказать, когда ушла моя мама. Вроде бы днем. Когда до меня дошло, что произошло что-то очень плохое, миссис Уинн уже успела вызвать Эдварда с работы, поскольку ей самой пора было идти домой, а она не знала, куда подевалась моя мама. Не припоминаю, чтобы я искала ее по всем комнатам. Не припоминаю, чтобы миссис Уинн принесла люльку с Джо вниз, когда тот проснулся. Не припоминаю, чтобы мы бегали по саду под дождем и звали маму. Ничего не припоминаю — хотя все это наверняка имело место.

Помню, как миссис Уинн звонила Эдварду — просила пригласить к телефону доктора Брауна. Как говорила что-то вроде: «Я извиняюсь, может, она и предупреждала меня о какой-то встрече или делах, но на самом деле не припоминаю». Помню, как, пока миссис Уинн говорила, воздух вокруг менялся, постепенно превращаясь в желе, и все объекты вокруг начинали подрагивать, если смотреть на них слишком долго. Слова перестали быть нормальными словами. От них воздух вокруг телефона стал скользким.

Я помню, как ждала у окна, выглядывая машину Эдварда. Помню, как миссис Уинн отворачивалась от меня и как ее смущение заполняло пространство вокруг. Еще до приезда Эдварда мы внезапно утратили способность смотреть друг другу в глаза. Мы обе были дома. И мы ее потеряли. Стыд заполнял дом, комнату за комнатой, будто раздувался огромный вязкий шар, высасывал отовсюду воздух, не давал дышать.

Когда Эдвард вернулся, миссис Уинн была готова остаться и помогать нам в ожидании возвращения мамы, но он вызвал ей такси, чтобы не пришлось в темноте крутить педали велосипеда. Он сказал: «Уверен, это какое-то недоразумение». Но миссис Уинн смотрела в пол, будто боялась подхватить инфекцию. Будто один лишь взгляд глаза в глаза мог заразить ее нашей постыдной неправильностью, нашей ущербностью. Настала ночь, от мамы не было вестей, и Эдвард позвонил в полицию.

Наверняка Джо не мог весь вечер проплакать в люльке на кухонном полу. Ну похныкал пару минут, пока Эдвард беседовал на улице с полицейскими, чтобы дочь не слышала разговора. Но я запомнила другое: младенец рыдает, родителей нет, а посреди клубов пара сидит человек в униформе и не знает, что делать. Вот такой драматический образ — как пустой шкаф, как момент ухода.

Эдвард изо всех сил пытался общаться с полицейскими то на улице, то в другой комнате, но на дворе стоял вечер, а Джо плакал. Он всегда плакал по вечерам. Мама называла это шестичасовыми коликами, а если я замечала, что уже, к примеру, без четверти восемь, она отвечала: «Он еще маленький и не понимает по часам». Я все пыталась привести Эдварда, чтобы он носил Джо на руках и успокаивал — обычно это помогало, — так что, несмотря на все его попытки оградить меня от разговора, главное я услышала.

Полицейский спросил, не считает ли Эдвард, что его супруга была в состоянии, в котором человек способен причинить себе вред. Нет, отвечал Эдвард, однозначно нет. Да он бы на работу не поехал, если бы хоть на секунду засомневался, что она — нет, нет, что вы.

И полицейский очень тихо сказал: «Видите ли, мистер Браун, если мы узнаем, что она в опасности, что она в опасном состоянии сознания, мы можем начать поиски незамедлительно».

Последовала долгая пауза. Эдвард не смотрел на полицейского. Он ходил туда-сюда мимо кухонного окна, покачивая Джо на плече. Раскачивался, похлопывал Джо по спинке. Потом обернулся — весь белый, кожа натянута, лицо жесткое.

— Понятно, — сказал он. — Хорошо. Я полагаю, моя жена была в опасном для себя расположении духа, когда днем ушла из дома.

Полицейский закрыл свой маленький черный глянцевый блокнот и с хлопком зафиксировал вокруг него резинку.

Я помню, чем мы в тот день ужинали. Бобы и рыбные палочки. И дождь помню. Полицейские насквозь промокли, пока поднимались к нашему дому, с их ботинок текла грязь. Только вот мы не ели рыбных палочек с бобами, пока в нашем доме не появилась Линдси. И дождь перестал. Я помню, что, когда меня спрашивали про мамин плащ, я отвечала, что ведь дождь прекратился, зачем ей плащ. Так что будем считать, что шел дождь. Плевать на рыбные палочки. У меня не так много осталось. Пусть у меня будет хотя бы дождь.

5

Законы физики



Законы физики



*Динь-дон, динь-дон,
Мне приснился страшный сон:
На лугу гуляет слон,
А теперь ты выйди вон!*

Если идти от деревни по нижней дороге в сторону старой водяной мельницы, то на пути будет череда темных уродливых озер, которые мы называли прудами. Они окружены деревьями, половина которых уже наполовину завалились в воду, а поверхность жирно блестит мертвой палой листвой. Когда я только осваивала велосипед, мы с мамой приезжали сюда — она всегда ехала впереди, очень медленно,

чтобы я попевала за ней. Ей постоянно приходилось оборачиваться или вилять посреди дороги и ждать меня. Возле прудов она перемещалась на встречную полосу, чтобы держаться подальше от воды. Неважно было, где ехать, — все равно машин там почти не бывало.

Каждый раз она говорила, что тут живут привидения, — именно поэтому она и отодвигалась от воды как можно дальше. Мама рассказывала, что несколько лет назад мимо этих прудов шла красивая девушка, возвращаясь домой после Бдений, а за ней следовал юноша — кто-то говорит, что юноша был, а другие считают, что не было, но, в общем, тело этой девушки нашли в пруду. Потому там водились привидения — потому что юноша не был наказан. Потому что никто не был наказан. И ее брэнной душе никак не упокоиться.

Потом мы ехали дальше, и мама поворачивала велосипед, подъезжая ко мне, и говорила, что, может, наказание и настигло виновного — потому что тот юноша состарился в своем доме неподалеку от нашего, и к концу его жизни все поместье заросло боярышником, как замок Спящей Красавицы. Колючие ветви пролезли в двери и окна, полностью оплели крыльцо, оторвав его от дома, а сад так зарос шипастыми плетями, что дорогу себе приходилось буквально прорубать. И чем больше колючек срезали, тем крепче и мощнее они становились.

На смертном одре тот старик велел позвать брата, желая признаться в чем-то очень важном, и брату пришлось приставить к окну лестницу, потому что жена старика ни за что не открыла бы входную дверь, но было уже поздно. И хотя старик много лет прожил в том доме с женой, детей у них никогда не было. Никогда.

Я понимала, что шипы в ее рассказе — это душа утонувшей девушки, вернувшаяся за виновным в ее смерти, это ее пальцы, крошащие стены и высасывающие из дома жизнь, что это та девушка помешала детям появиться в доме. Я спросила маму, видела ли она тот дом и шипы, на месте ли они. А она сказала: да, мы постоянно мимо него проезжаем, просто он уже в таком упадке и так зарос, что и не заметишь. В саду полным-полно одичавшего ревеня и малины, изгородь в одном месте обвалилась, и кое-кто пробирается туда за ягодами. Я бы ни за что туда не пошла, говорила она. Не подошла бы НИ НА ШАГ.

Пруды меня пугали. Каждый раз, проезжая мимо, я воображала утопленницу — в длинном платье колоколом, с торчащими из воды холодными желтыми ногами и с покрытым торфяным месивом лицом. Мне с трудом удавалось смотреть строго на дорогу, я смещалась от центра поближе к обочине, где по встречной полосе ехала мама. Иногда она разрешала мне вцепиться в багажник ее велосипеда, и так, дергая ее и шатая, я выезжала с ней из-под сени деревьев, прочь от тьмы и холода этих мест.

Когда мне первый раз сказали, что предполагают, будто она утонула? Точно не сразу. Через несколько недель — а то и месяцев — после ее ухода. Я не поверила. Я сказала: «Нет! Она всегда ездит по другой стороне дороги, она бы не подошла НИ НА ШАГ! Она ненавидела место, где утонула та девушка». И пока я повторяла «нет, нет, нет!», мне казалось, что мой голос отдаляется, отдаляется, становится на расстоянии все тише, пока не превращается в безмолвный крик в длинную тонкую трубу. Вокруг трубы сплошной мрак, и только в самом конце тоннеля — ярко освещенное световое пятно на воде, а в этом пятне лицом вниз лежит девушка.

Я не знала, что теряю сознание. Я слышала слово «обморок», но никто никогда не объяснял, как он ощущается. Я думала, что эта потеря слуха, когда звук слышится как отдаленный шепот, это сужение поля зрения до маленького освещенного пятна вдалеке — навсегда. Я думала в тот момент, что больше никогда не буду видеть и слышать, как прежде. Отчасти я угадала.

Я рухнула прямо на каменный кухонный пол, выбила один из последних молочных зубов и получила легкое сотрясение мозга. Ну и хорошо. Во-первых, они прекратили говорить про воду. А еще я быстро сообразила, что могу отмазываться от школы. Каждое утро начиналось с вопроса, прошла ли моя головная боль, и если она не прошла, то можно было остаться дома, в постели, есть сэндвичи, сорить крошками, рисовать и смотреть в окно.

Примерно через неделю ко мне пришел врач. Он сказал, что в моем возрасте необычно так долго страдать после сотрясения мозга. Что надо бы сделать снимок. Что раз у меня ни тошноты, ни головокружения, то надо бы дополнительно обследоваться. Все это было сказано моему стоящему в дверях отцу, и в моем распоряжении появилось новое оружие против школы. Головокружение, тошнота.

Когда головные боли закончились, я решила испробовать новые средства. Мне хватило ума не цитировать доктора дословно. Я разными способами пыталась описать головокружение. «Будто на карусели качусь и не могу сойти». Или «все вокруг вращается».

Чаще всего Эдвард просто пожимал плечами, говорил: «У меня тоже, котик», и разрешал мне валяться в постели. Я понимала, что почти любой физический симптом теперь можно связать с пропажей моей мамы: головную боль, тошноту, сонливость, бессонницу, грязные ногти, экзему, насморк, кариес, нечесанные лохмы, вшей. Особенно вшей. Все годилось.

К тому дню, когда я грохнулась в обморок, Линдси уже работала у нас — ежедневно нянчила Джо, так что Эдвард вернулся на работу. Если я жаловалась на самочувствие, он просто говорил Линдси, что я останусь дома, и уходил по своим делам.

Я обожала Линдси. Она красила мои изгрызенные ногти яркими лаками. Разрешала трогать ее пушистый желтый свитер. Расчесывала мне волосы, пока они не наэлектризовывались и не вставали дыбом, а потом пыталась их пригладить. Не пыталась меня убедить, что у меня милые веснушки или красивые волосы. Она честно говорила: «Подрастешь — сможешь пользоваться тоналкой, если захочешь. И мелирование сделать».

При ней весь день работал электрокамин и телевизор, и ее совершенно не беспокоило, сколько раз подряд Джо смотрел одну и ту же серию «Паровозика Томаса». Она кормила нас блюдами из замороженных полуфабрикатов. Она читала мне гороскопы из своих журналов, и почти все они касались «парней». Она часами болтала по телефону со своей сестрой, прижав трубку ухом к плечу и держа Джо на бедре. Она была такая тощая, что он полностью обхватывал ее ногами. От нее пахло жевательными конфетами и яблочной кожурой. Едва она спускала Джо на пол, как он начинал плакать, и потому она таскала его на руках день-деньской. Ей удавалось одной рукой держать Джо, а другой — делать макияж. Она давала ему подержать тюбики с косметикой. У нее была специальная кисть для пудры, и она щекотала ею мой нос.

Когда я что-то рисовала, она говорила: «А у тебя ловкие ручки. Зуб даю, это у тебя от мамы, благослови ее Господь». Не то чтобы моя мама когда-либо рисовала, но такие комплименты меня радовали.

Меня вообще радовало, когда она упоминала мою маму, пусть даже они никогда и не встречались. Я приносила ей разные вещицы и говорила, что это — мамины любимые, что она сама их сделала или нашла в саду. Половину я выдумывала.

Когда наконец к нам пожаловала инспекторша из школы, я валялась на диване в пижаме и смотрела «Пиджен-стрит» по новенькому телеку, заедая мультфильм бутербродами с сыром из нарезки. Инспекторша была вся одета в сияющее и коричневое: сияющие коричневые туфли, бликующие бледно-коричневые колготки, такую же бликующую коричневую водолазку и скрипучую блестящую коричневую юбку. Вроде бы кожаную. Я никогда не видела, чтобы так одевались. Линдси освободила для гостьи кресло и предложила чай. Поинтересовалась, какой чай заварить. Я ответила за нее. «Коричневый, — сказала я. — Ей нравится коричневый чай». Мне казалось, это смешно.

Коричневая дама открыла свою блестящую коричневую сумочку и достала блокнот и ручку. «Итак, — сказала она, со щелчком захлопывая сумку, — как я понимаю, ты недавно потеряла мать. Правильно?» Кажется, я тогда впервые столкнулась с такой формулировкой. Я нелепо, легкомысленно потеряла собственную маму. Не смогла удержать, и она выскользнула. Я играла с ней в саду и не помню, где оставила. На секундочку о ней забыла, а когда вспомнила, было уже поздно.

Стало ясно, почему полицейские задавали мне столько вопросов. Где я была, что делала, в котором часу? Именно эти вопросы задают тому, кто потерял какую-то вещь. Где ты ее в последний раз видел? Ты выносил ее на улицу?

Это меня бесило в родителях. Если я говорила любому из них, например, «не могу найти ботинок» — или мишку, или свитер, — они обязательно отвечали: «Ищи там, где оставила». Если я продолжала ныть, Эдвард добавлял: «По законам физики, Марианна, все сущее не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Так что с лица Земли ботинок исчезнуть не мог».

Я прищурилась на коричневую даму и постаралась не заплакать. Изо всех сил я пыталась выгнать из головы образ мамы, говорящей: «Думай, Марианна! Я там, где ты меня оставила. Где я осталась? Где я могу быть? Может, в саду?» Я судорожно сглотнула и сказала: «По

законам физики, все сущее не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда». Я изо всех сил таращила на инспекторшу, чтобы доказать, что не реву, — хотя все лицо у меня было мокрым.

Она долго смотрела на меня, прежде чем ответить. А потом спросила: «Что ты сейчас читаешь?» Будто бы любой ребенок старше шести лет обязательно все время что-то читает. С чтением у меня были серьезные трудности, так что я просто назвала последнее, что помнила, из прочитанного вместе с мамой. «Падение Иерихона». Целая армия маршировала вокруг крепостных стен, идеально четко отбивая ритм, пока стены попросту не рухнули. Инспекторша спросила, верю ли я, что все так и было. Почему бы и нет — ответила я. А как еще можно разрушить крепостные стены?

«Не знаю, — ответила она. — Может, взрывчаткой какой-нибудь?» И вот тут коричневая дама мне сразу понравилась. Это было хорошо, поскольку заходила она к нам часто.

У меня набралась неплохая коллекция симптомов. Я очень внимательно слушала всякие медицинские истории. Материала у Линдси было хоть отбавляй. Большинство рассказов включали необъяснимую потерю крови или употребление напитков, к употреблению не пригодных. Однажды я даже испробовала такое: «Кажется, я вчера многовато выпила, голова раскалывается». Не знаю, почему папа так смеялся. Или почему отправил меня в школу, когда я однажды сказала: «У меня начались эти дни».

Ну и, как большинство ипохондриков, я часто по-настоящему болела. Собрала все детские болячки, которые пропустила, пока училась дома. Стоило мне после болезни вернуться в класс, как я ловила следующую инфекцию. Странно, что никакой разницы в ощущениях не было, сидела ли я дома просто так или на настоящем больничном. Телек смотрела, рисовала. Строила деревянные башенки, которые Джо успешно ломал, и собирала железнодорожные пути на пестром ковре в гостиной, которые Джо тут же разрушал, ползая за мной по пятам. У меня то появлялась страшная сыпь, то распухали гланды, то голова болела, то нос закладывало. А то ничего не было. Но когда кто-то спрашивался о моем самочувствии, я всегда честно отвечала: «Ужас».

Я никогда не проверяла на прочность утверждение, что все сущее не исчезает в никуда. Папа перестал так говорить. И так я осознала,

что это неправда. Как многое из тех утверждений, что существовали до ее ухода, все оказалось выдумкой. Еще как исчезает. Что-то потерять — более чем возможно. Лишиться этого навсегда. И неважно, помнишь ли ты, где в последний раз видел утраченное. А метки, образы, которые ты держишь в поле зрения как ориентиры, могут измениться до полной неузнаваемости.

Твой маленький братик, от которого пахнет новыми одежками и кремом от опрелостей, детскими салфетками и баночным пюре, вдруг вырастает во что-то совершенно незнакомое, хотя ты все время была рядом с ним и следила за каждым его движением. В кухне может поселиться запах жвачки, лака для волос и консервированной фасоли. Растения на подоконнике могут превратиться в жухлые бурые палки. Кровать может стать совсем чужой. Однажды вот так проснешься — а у тебя новое одеяло с цветной лошадкой, а простыни не пушистые и полосатые, а гладкие, розовые и блестят. Радиоголоса тоже исчезают из дома, а им на смену приходят телевизионные шумы из рекламы чая в пакетиках, или сардин, или вафель.

Сад заполняется людьми в униформе, дорожки вытоптаны, растения вырваны, гравий на подъезде к дому укатан колесами излишнего множества машин и частично смыт дождями. Однажды утром ты обнаруживаешь, что волосы выпадают, а те, что отрастают заново — другого цвета. Внезапно твой отец, который еще вчера не имел определенного возраста, превращается в пожилого человека. Раньше он назывался «папа», а теперь в доме постоянно толкутся какие-то люди и называют его Эдвардом, и ты тоже начинаешь так делать. Ты никогда не думала, что однажды папа умрет, но теперь приходится и это держать в голове. Так что сущее вполне себе исчезает в никуда. Особенно самое существенное.

6

Воздушные создания



Воздушные создания



*Я иду-иду по воду
Там, где вовсе нету броду.
Надо мной летают птички,
Две веселые синички,
Затевают разговор:
«Ах ты жулик, ах ты вор».
Палку длинную я взял,
Им по клювам надавал.*

Тут вот еще такая штука с птицами. Двоюродный дед Мэтью, который подарил моим родителям этот дом в деревне, на самом деле мой двоюродный прадед, но это слишком длинно. Когда дед Мэтью совсем состарился, Эдвард возил меня к нему в дом престарелых, где дед постепенно уменьшался, уменьшался, пока вовсе не испарился. Улетел. Его плечи подались вперед, руки скрючились, как крылышки, на покрывале, а пальцы превратились в тонкие бурые перышки, подвернутые к ладони.

Я была совсем маленькой, когда он умер, но эти посещения помню. Мы приносили ему цветы из нашего сада, капкейки, которые я сама украшала, мои рисунки, кокосовый грильяж. Однажды даже ириски сварили. Он мне нравился. Он, разговаривая, двигал только половиной рта, пользовался только одной рукой, от него всегда приятно пахло чистыми, свежестырированными вещами, а густые седые волосы он зачесывал со лба назад, за уши.

Он мне рассказывал дурацкие стишки. Больше всего мне нравился стишок о старых добрых рыцарских днях. Я думала, это о нем:

Храбрые рыцари жили давно,
Их доспехи на солнце блестели,
А теперь лишь луна им светит в окно
И пижамы их ждут в постели.

Он был настоящим рыцарем, только вот, к сожалению, в доме престарелых спрятали его доспехи. Ну или бросили их ржаветь в саду. Потому ему теперь приходилось быть моим храбрым рыцарем в пижаме. А был еще и такой стишок:

Два мертвых рыцаря в ночи
Достали острые мечи,
Друг к другу наклонились

И оба зарубились.

В общем, я считала его специалистом по рыцарям. Даже догадалась, что он сам втайне был одним из них. А пижама была просто маскировкой — ведь среди ночи тоже надо было вставать и сражаться. Все совершенно логично. Он умер, когда мне было четыре.

Эдвард возил его в больницу на последнее обследование. Снимки показали, что его кости сплошь заполнились пустотами. Дед Мэтью сказал, что у него теперь птичий скелет. Рак разъел его, превратив в скопление воздушных полостей, лимонад с пузырьками, пестрый оттиск пустых, пещеристых косточек, которые вот-вот улетят к своему создателю.

Когда накануне похорон тело доставили в церковь, маме вдруг стало его жаль — что он лежит там один, в холодном помещении, в последнюю ночь перед преданием земле, и она отправилась туда после заката, посидеть у гроба. Она уже подходила к церкви, как вдруг с колокольни с криком сорвались три черные птицы. Они ринулись к ней, клевали, били крыльями по голове. Эдвард говорит, что домой она бежала бегом, и раны на лице и руках были самыми настоящими.

На следующий день все пришли на похороны, и птиц нигде не было. Эдвард говорит, что когда он поднял гроб, чтобы отнести его к могиле, тот казался совершенно пустым. Это был плетеный гроб, вроде большой корзины для пикника или птичьей клетки. Сколько бы душа ни весила, но этот вес ушел. Когда гроб опускали в землю, папа был даже готов проверить, действительно ли в нем что-то лежит. Но не стал.

Мама верила в ангелов. Все время их видела. Она говорила, что больше всего им нравятся ступеньки под высоким окном. Она расставила и развесила ангельские фигурки по всему дому. В каждом дверном проеме. Ей нравились деревянные ангелочки, и гипсовые тоже, и даже пластиковые из дешевых рождественских инсталляций. Она любила и пухлых херувимов, похожих на младенцев, и изящных ангелов, похожих на тоненьких дев со сложенными крыльями и опущенными долу глазками.

После пожара я все переживала, уцелели ли ангелы. Эдвард собрал их целую коробку — в основном деревянных. Гипсовые так закоптились, что их невозможно было оттереть, не повредив краску, а картинки либо отсырели, либо сильно замарались, либо от них вовсе мало что осталось. Сохранившихся ангелов я развесила у себя над лестницей. Сюзанна дала им всем имена. По алфавиту. Абби, Барни, Венди, Габи, Дэйви. Уверена, что второе имя она выбрала в честь своего отца — просто проверить, буду ли я вздрагивать при имени Барни. Сдерживаюсь. Думаю, мама бы одобрила. Если бы я позволяла себе верить в то, во что верила она, я бы сказала, что слышу, как она хихикает там, на лестнице. Но я не позволяю.

7

Подменыш



Подменыш



*Мятный мягкий холодок,
Вишня, косточка, листок,
Тропка, трубка, кочерга,
Три гусыни — га-га-га.
То сюда, а то туда —
До кукушкина гнезда.*

Мама во что только ни верила. Во всякое, что говорят детям. Конечно, я знала, что большая часть из этих сказочек — белиберда. Что древесные корни, свисающий с потолка маленького песчаного грота под мостом — никакая не старая ведьма Бабка Бр-р. Это просто

корни. А крапива, перекрывающая вход в грот, — это просто крапива, а не магическое препятствие.

Зато, когда мы завтракали французскими тостами, мама говорила, что ее старая знакомая мадам Грейпфрют рано утром прилетела с этими тостами из самой Нормандии, посадив вертолет на заднем дворе. «Мерси, мадам Грейпфрют!» — кричали мы в окошко, пытаюсь хоть краем глаза увидеть вертолет, улетающий дальше, на юг.

А дальше начиналась серая зона. Например, у нее была книжка с фотографиями Фей из Коттингли — восхитительными подделками с вырезанными из бумаги феями в платьях из папиросной бумаги, с идеальными крылышками, на которые в свое время купилось множество народу. Я говорила: но ведь вся книжка — о том, как девочки сами вырезали бумажные фигурки, надели их на палочки от леденцов и сделали фотографии, на которых не разглядеть фальшивку, она отвечала: «Точно. Но сама подумай: если те девочки, что дружили с феями, хотели заставить людей в них поверить, они были просто вынуждены сделать этих фей такими, как в сказках — с милыми личиками, крылышками и в платьицах. Может, *настоящие* феи, с которыми они играли, выглядели совсем иначе. Может, они уродливы и вообще не носят одежду. Может, у них смуглые животы висят до колен, а из ушей трава пучками растет».

Она не могла даже срезать ветку, не спросив у дерева разрешения. Хотя, может, это касалось только старых деревьев. Или только рябин. Еще она всегда здоровалась с сороками. Если случайно произнести какое-то слово одновременно с другим человеком, то вы оба должны сразу повернуться против часовой стрелки (она говорила «противосолонь»), чтобы отвести беду, потом встать на одну ногу, коснуться носа своего собеседника и выкрикнуть имя поэта. Любой поэт подойдет. Я всегда называла Роберта Льюиса Стивенсона. Она — Эллу Уилер Уилкоккс, причем я вообще не верила, что это реальный человек. Я думала, что это просто выдуманное имя, которое забавно выкрикивать.

Детям рассказывают истории и сказки. Это весело. Если дети выросли, а ты еще жив, то можно вместе над ними посмеяться. Но что, если твоя мама исчезает прямо среди одной из историй? Вдруг ее забрали феи? У нее была одна из любимых историй, сказка про подменыша.

Светит полная луна, в люльке спит младенец. Прилетают феи и уносят детку. Они берут ее в свою страну, в невидимый мир внутри нашего мира, и только феи знают дорогу туда и обратно. В люльку феи кладут свое дитя, своего подменыша.

И вот подменыш растет, но не крепнет. Дитя тяжелое, негибкое, неуклюжее. Ребенок учится петь, но не может освоить язык. Он несговорчив и невыразимо проказлив.

И мать ребенка все время знает, что феи следят за ней, проверяя, добра ли она к подменышу. Она не осмеливается наказать дитя или сказать резкое слово, чтобы феи не навредили в отместку ее ребенку. Подменыш — непростое бремя, испытание безответной любовью, но женщина любит его изо всех сил, надеясь, что феи будут точно так же любить ее родное дитя.

И никакого счастливого конца. Я каждый раз спрашивала — что было дальше? Что случилось с ее малышкой? — а мама пожимала плечами и отвечала: «Никто не знает».

— А как же подменыш? Что с ним стало?

— О, да толком ничего. Он же подменыш. Они никогда по-настоящему не взрослеют.

Меня эта сказка пугала еще до ее ухода.

А потом она исчезла, а я все думала: это меня унесли в другой мир или ее? Вокруг меня — реальный мир или его жалкая копия? Что, если мама ищет меня, зовет по имени? Вдруг мне удастся выбраться из этого бледного подобия реальности и оказаться обратно в зарослях молочая, где мама сидит под яблоней и пришивает именные бирки на школьную форму, которую я никогда не надену?

После рождения Сюзанны я стала иначе воспринимать сказку о подменыше. Я прочувствовала это ежедневное волшебство — когда ребенок просыпается, взбирается на ручки, весь такой привычный, весь твой, всё еще здесь. Уходит лихорадка, прекращается истерика, солнце встает, лекарство действует, и моя девочка возвращается — сильная, светлая, цельная, собранная.

И вот еще странное. Ерунда, наверное, но каждый раз, когда я пытаюсь записать, во что верила мама, записи куда-то пропадают. Файл в компьютере исчезает. Лист бумаги падает за батарею, и пока я ищу степлер, чтобы скрепить страницы, скреплять уже и нечего. Не сосчитать, сколько раз я пыталась составить список вещей,

в которые она верила или говорила, что верит. Здесь у меня неполный список. Половина опять пропала. Я хотела рассказать о призраках, о заклинаниях и молитвах, о бутылочках над кухонной дверью, о том, как после смерти дух может вселиться в другое живое существо — в животное, в дерево, в вырезанный из этого дерева музыкальный инструмент. Но все мои старания идут прахом. Я не хочу звучать так, как могла бы моя мама в похожей ситуации, но такое ощущение, что ей не нравятся мои попытки все записать.

Время от времени Эдвард устраивал уборку и приносил мне коробки с вещами, которые считал моими. Среди кучи мягких игрушек, которых я, клянусь, никогда в жизни до тех пор не видела, оказалась «Паутина Шарлотты» в твердом переплете. Он сказал, что понимает, насколько книга мне дорога, что помнит, как я заново училась читать, пока болела ветрянкой и пропускала школу, как сидела на подоконнике, изо всех сил стараясь сконцентрироваться на книге, чтобы не расчесывать волдыри. Когда сыпь прошла, я снова освоила чтение. Худо-бедно, но я опять читала.

Я помню растрепанные уголки моей книги в мягкой обложке, трещину вдоль переплета от постоянных сгибаний и разгибаний, жирные пятна «каламина» на страницах. Но та книга, которую он принес, была девственно чистой. Твердая обложка была мне незнакома. Впрочем, я не стала ему говорить, что это не та книга. Потому что под обложкой почему-то стояло мое имя — написанное зелеными чернилами, вроде как моим почерком.

Я помню и «Паутину Шарлотты», и подоконник. Но я тогда была не одна. Со мной сидела мама: читала и перечитывала мои любимые отрывки, ни разу не отметив, что эту страницу мы уже прочли. Снова и снова. Я помню ее прохладную руку, лежащую на моей, и как она отводила мою ладонь от волдырей на запястье и еще тех, что коварно притаились на нежном внутреннем сгибе локтя. Она заправляла мне за ухо прядь волос, убирая ее от дорожки волдырей над бровью — от них остались крошечные пятнышки. Она читала на разные голоса: скрипучим — за крысу Темплтона, медленным, мягким и сладким голосом — за Уилбура, старомодным учительским тоном — за Шарлотту.

И пусть я знаю, что она исчезла задолго до того, как я заболела ветрянкой. Пусть я не верю в привидений. Упорно, игнорируя

очевидное, я отказываюсь верить в то, во что верила она. Даже если это могло бы меня утешить. Даже если прошлое складывается, как слоеное тесто, и моя мама единственная из всех людей могла бы понять, как тяжело мне среди слоев этого теста и как я не могу из-под них выбраться.

8

Что потерялось в высокой траве



Что потерялось в высокой траве



*Зеленый горошек, мясной пирог,
Куда мою маму увел ветерок?
Она не умрет, я бегу со всех ног.
Зеленый горошек, мясной пирог.*

На первом году обучения в средней школе нас учили работать на швейной машинке. Трое мальчишек из моего класса были просто асами шитья. Эти же самые пацаны вечно сидели на последней парте и стреляли жеваной бумагой в учителей. На следующий год их выгнали из школы за то, что они разбили окна в кабинете химии. Но некоторое время в первый год средней школы их машинная вышивка красовалась на выставке в фойе.

Им удавалось ловко управляться со швейной машинкой, потому что все они уже умели так же ловко управляться с трактором. Если ты умеешь водить трактор, к педалям которого привязаны деревянные колодки, чтобы ноги доставали, то швейная машинка — это всего лишь еще одна педаль. Легко.

Были мгновения, когда я чувствовала нечто вроде единения с этими шьющими трактористами. Я-то знала, что все, чему тебя учат дома, не прокатит в школе. Ну разве что случайно. Дома я могла печь хлеб, петь, лазать по деревьям; выделывать трюки, чтобы рассмешить плачущего братика; я могла принимать важные телефонные сообщения и читать сказки на ночь, я могла срезать верхушки капкейков и делать из них крылышки фей на масляном креме, я могла сама разделить расческой волосы на прямой пробор и заплести их перед сном без посторонней помощи.

А в школе я не понимала ни когда говорить, ни когда заткнуться, ни какая у нас неделя — четная или нечетная, ни какие носки носить на физкультуру в этом семестре, ни почему нужны не такие, как в прошлый раз.

Я знала имя египетской богини^[3] — покровительницы деторождения, у которой было львиное тело, крокодилий хвост и голова гиппопотама. Я могла назвать притоки Нила. Но это все не важно. Важно — это какой марки у тебя цветные карандаши и в каком контейнере ты носишь с собой еду. Это хорошо, если дома ты сама стираешь свои носки. Но вот если тебе удалось найти пару странненьких носков, в которой один носок слегка посерел — вот это уже не годится для школы, пусть даже эти носки суть две половины одного целого.

И довольно неприятно быть дураком в начальной школе — но вот в средней это настоящая катастрофа. В слабых группах почти нет

девчонок, а с теми, кто туда попал, никто не хочет водиться. Если ты читаешь медленно или перечитываешь все дважды, чтобы убедиться, что уловила смысл, — значит, ты не справишься с заданиями, которые выполняют опрятные девочки с неизгрызенными карандашами. Медленно читаешь — значит, на уроках труда не успеешь вовремя поставить в духовку свою стряпню и в итоге просто выбросишь ее в мусор, в отличие от той, которую опрятные девочки унесут домой на ужин в своих расчудесных пластиковых контейнерах.

Кроме того, даже если бы я носила эту еду домой, ее нельзя было бы есть ни Джо с его проблемной кожей, ни Эдварду, у которого после ухода мамы обнаружился диабет. Хотя, может, у Джо экзема развилась бы в любом случае. Обычно она в таком возрасте и проявляется. Но Эдвард как-то раз вернулся домой пораньше, потому что днем его жена ушла из дома, ничего никому не сказав, а уже в следующее мгновение превратился в писающего сахаром вдовца.

С тех пор он ежедневно делал себе инъекции ее отсутствия, измеряя дозу в инсулиновых единицах и втыкая ее себе в живот. Вот такой однозначный химический эффект разделил его жизнь на до и после. Однажды он ослепит его, покалечит, а потом убьет — и перспектива кажется такой логичной, такой естественной. Мне было так жаль, что я разучилась читать, но какой смысл был жаловаться на это дома? Я понимала, что еще легко отделалась.

Жизнь после ее ухода разделилась на то, что еще можно исправить, и то, чего исправить уже нельзя. Например, мои волосы еще можно было привести в порядок. Поначалу я не понимала, почему они такие жесткие, бурые и липнут к лицу. И почему от расчески мало толку. А потом у меня завелись вши, Эдвард узнал о существовании косичек и шампуня с экстрактом чайного дерева, и оказалось, что с волосами вполне можно справиться.

А вот с остальным ничего сделать было нельзя. Например, со стресс-индуцированным диабетом второго типа. С хронической экземой. С разбитыми тарелками. С изжеванными вязаными свитерами, которые сели после стирки. С огородом. С воздухом в кухне. С тех пор, как он превратился в желе, надо было набираться храбрости, чтобы туда входить: громко включать радио, оставлять открытой дверь в гостиную, запускать по кругу детские передачи, чтобы желе расслоилось на маленькие подвижные комочки, среди

которых уже можно как-то передвигаться. Будто контуры всех вещей оплыли, размокли, стали невнятными и чужими. И эта чуждость так никуда и не делась.

И ведь не существует никаких критериев, никакого естественного порядка, согласно которому легко отличить одно от другого, поправимое от непоправимого. Вот где проблема. Только пытаюсь починить все подряд, можно понять, что не подлежит починке.

Пусть и медленно, но я теперь постоянно читала. Чтение занимало много времени, я засиживалась допоздна. Ночи в нашем доме больше не были тихими. По ночам Джо чесался особенно сильно, отвлечь его было невозможно, так что Эдвард то сидел с Джо, то носил его на руках, успокаивал, мазал кремами и читал ему вслух. Временами я слышала бормотание, плач или звук открывающегося шкафа, откуда Эдвард доставал чистые прохладные простыни. Если я тоже вставала, мы пили что-нибудь теплое, потом я ложилась на противоположном от Эдварда краю кровати, между нами лежал Джо, и я нежно держала его сухие горячие ручки, снова и снова слушая старые сказки.

Утром Эдвард был буквально прозрачным после бессонной ночи, а я вообще отказывалась шевелиться. Я поздно вставала, опаздывала на школьный автобус, сидела нечесаная и не могла вспомнить, что мне нужно делать. Конечно, я оставалась дома. Эдварда и Джо к тому времени уже не было — Джо ходил в детский сад при колледже, где Эдвард работал.

Иногда я все же выходила на автобусную остановку, но в последнее мгновение мои нервы не выдерживали, и я просто пряталась за забором. Школьный автобус уезжал без меня, а я пробиралась обратно в дом через окно в столовой. Даже если бы Эдвард не забывал его запирать, у меня все равно была отмычка: я ее сделала из разогнутой металлической вешалки и прятала под отопительным баком.

Дома я готовила себе завтрак и быстро забиралась обратно в постель, чтобы не включать отопление. По всей кровати у меня валялись хлебные крошки и мамины книжки — раскрытые и со смятыми страницами, на которых я накануне заснула.

Примерно в половине десятого звонил телефон: это школа интересовалась причиной моего отсутствия. Иногда я брала трубку

и прикидывалась няней или домработницей. У меня был целый арсенал разных голосов. Мне они казались забавными. Особенно те, что звучали с шотландским акцентом. Я старалась произносить фамилию «Браун» с раскатистым «р» и округлым «а».

«Да, я работаю в семье Бр-р-роун. Марианна Бр-р-роун утром уронила на ногу утюг и поехала на рентген, а там же всегда очереди. Финансирование в больницах никуда не годится!» Если к телефону просили Эдварда, я предлагала оставить для него сообщение и перезвонить после шести. Я знала, что до этого времени в школе никто сидеть не будет.

Я снова и снова возвращалась к книгам, которые читала с мамой, потому что знала в них каждое слово. Потом я читала ее кулинарные книги и справочники по садоводству. Я снова и снова вцеплялась в ее имя, указанное на всем, что ей принадлежало, брала след, пытаюсь выследить ее саму.

Именно тогда я начала читать «Перл»^[4]. У маминого издания была простая зеленая обложка с пентаклем. Рисунок показался мне знакомым. Даже важным. Я откуда-то знала, как его можно начертить, не отрывая карандаша от бумаги. Наверное, мама меня и научила, но я не помню, ни почему она меня учила, ни где я его раньше видела.

В книге было две поэмы — «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», а потом «Перл». Весь «Гавейн» был в пометках, переписанных из примечаний и пояснений в конце книги, а особенно исписана была та часть, где описывается амуниция Гавейна и как он собирается в путь. Сбоку каждой страницы перечислены по пять символических характеристик — по количеству лучей пентакля: пять чувств, пять добродетелей, пять пальцев, пять радостей Царицы Небесной. Правда, сами радости не обозначены.

Тогда я не знала, что это отсылка к пяти Тайнам Розария^[5]. Я думала, что у Богородицы было пять поводов радоваться своему ребенку. Я же видела, как мама обращалась с Джо, так что у меня уже было определенное представление. Я знала, что она всю зиму прислушивалась к тому, как он растет и оформляется внутри нее.

Ей точно нравилось смотреть, как он сучит ножками, кормить его, купать, целовать его мягкую макушку и пяточки, вязать свитерки в полоску, до которых ему еще предстояло дорасти, петь ему, качать его и похлопывать по спинке, и носить на плече, чтобы он срыгивал

молоко на муслиновую салфетку. Все эти отрады не поместились бы в один пентакль. Может быть, Богородице разрешалось только пять? Какие бы она выбрала?

После «Гавейна» пометок гораздо меньше. На первых страницах «Перла» их много, а дальше — почти нет. Читать я продолжила только из-за самой первой пометки. Мама обвела слово «Перл», провела от него стрелку на поля и подписала заглавными буквами «УПОКОЕНИЕ». Не знаю, почему она пропустила букву. Но именно успокоения я и искала. Все ее книги прошерстила в этих поисках.

Я тайно собирала вещи из ящичков под ее кроватью и прятала их по одной под подушку, силясь сохранить коричный аромат бусин, которые она хранила вместе с вещами. Я терла в ладонях собранные в саду листья в поисках того самого идеального сочетания запахов мяты, молодого горошка и свежего лука, и когда я случайно хватала крапиву, скользя по колючему стеблю всей ладонью, то потом оборачивала руку щавелевыми листьями и думала, что крапивные ожоги — это часть волшебства. Если я достаточно выстрадаю, то она вернется.

Мне было тяжело читать «Перл». Первые несколько страниц я осилила — те, где она не только писала на полях, но даже рисовала сад и могилку. В конце концов, это могла быть иллюстрация к поэме, а мог быть и набросанный гораздо позже план ее собственного садика. Карандашные пометки выцвели, истерлись, отпечатались на оборотах страниц, и потому слова казались неведомыми заклинаниями на неизвестном языке. Но я была упорна — как и во всем остальном. Я переписывала эти обрывки текста в тетрадку. Я училась писать странные кудрявые буквы, которые исчезли из языка. Я понятия не имела ни как они называются, ни какой звук обозначают.

Ее пометка в начале сулила мне успокоение. Больше никто не предлагал мне подобного. Но как я могла знать — это из мира поправимого или непоправимого? Я верила, что если дочитаю поэму до конца, то обрету успокоение. Меня не волновало, что она, может быть, и сама ее ни разу не дочитала или что последний раз брала эту книгу в руки еще в колледже, десять с лишним лет назад.

Меня не смущало даже то, что изначально это была вовсе не ее книга. На форзаце сними чернилами было написано имя другого студента, потом зачеркнуто и вместо него вписано ее имя, с девичьей

фамилией — «Маргарет Брук». Мне годами не приходило в голову, что, возможно, вовсе не она делала все эти рукописные пометки. Ей, может, вообще эта поэма не нравилась.

Я знала, что она точно любила «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря». Она сто раз рассказывала эту историю. Часовню у реки она всегда звала Зеленой часовней, и только спустя много лет после ее смерти я узнала, что настоящая Зеленая часовня — та, из книги — находилась в часе езды от нас и что она даже не часовня, а скорее курган в конце парка. А может быть, мне только кажется, что она рассказывала мне про сэра Гавейна. Я могла перепутать этот рассказ с другим ее любимым, о зеленых детках.

Однажды, когда деревенские жители таскали из каменоломни камень для строительства, из-под земли вышли двое зеленых детей. Брат и сестра. У них были зеленые волосы и зеленые одежды, но это не все. Даже их кожа была зеленой, и белки глаз отливали нежной зеленью.

Дети были напуганы и говорили на никому не известном языке. Они указывали на свои рты, подразумевая, что голодны, и жители деревни предложили им хлеб, сыр и яблоки, но дети не стали это есть.

Так что рабочие перестали копать и повели детей к человеку, которому принадлежали окрестные земли; он был путешественником и знал разные языки. Землевладелец пытался побеседовать с детьми на всех известных ему наречиях, но они его не поняли. Он был добрым человеком, предлагал им самую разнообразную пищу, но дети приняли только зеленые бобы.

Они остались жить с ним, постепенно привыкли и к другой еде, их зеленый цвет постепенно тускнел, а сами они выучили язык окружающих людей. Но даже когда их кожа посветлела, глаза все равно оставались зелеными, как у кошек, а волосы имели оттенок влажной соломы.

Дети рассказывали, что отправились гулять по подземной пещере, а когда вышли на поверхность, то не смогли найти обратный путь. Они говорили, что в их краях все такие зеленые. Жители деревни пытались вместе с детьми отыскать дорогу к их дому, но безуспешно. И дети остались в деревне.

А потом мальчик умер, и его похоронили там, где впервые встретили, в надежде, что его дух сам найдет путь домой. Девочка выросла, вышла замуж и родила светло-зеленых детей, но все равно никогда не прекращала искать дорогу туда, откуда явилась, однако так и не нашла ее.

Возможно, я нашла именно эту сказку. В маминой версии оба ребенка страшно скучали по дому, и оба умерли. Конечно, я могла перепутать. Или просто надеялась, что дети всегда были вместе. Мне не нравилась сама мысль, что сестра смогла жить на чужбине без брата. Может, я просила маму придумать другое окончание истории, а может, выдумала его сама после ее ухода.

9

Пути следствия

9



Пути

следствия



*Трубо-трубо-трубочист,
Был он совестью нечист:
Спрятал в дымоход жену,
Да к тому же не одну.*

Среди маминых книг была одна брошюрка викторианских времен под названием «Дамский оракул». Можно было задать любой из перечисленных в ней вопросов, закрыть глаза, сконцентрироваться

на нем и наугад ткнуть в специальную табличку с символами. Нужный символ вел к нужному ответу из другого списка. Все вопросы были из серии «Думает ли обо мне тот, о ком думаю я?», а ответы обычно сводились к туманному «Возможно. Время покажет».

Большинство вопросов в книжке связаны с возможными скандалами. Например: «Если о моем проступке узнают, избегу ли я наказания?» или «Что мне делать, чтобы моя тайна на раскрылась?» А для тех, кто буквально находится на грани грехопадения, есть и такое: «Ринуться ли мне в омут с головой или воздержаться?» Ответы на более конкретные вопросы тоже хороши: однажды я выбрала «Будут ли у меня дети?», и ответом было «Один прелестный и несколько гадких». Ну спасибоочки.

Несмотря на дурацкие вопросы и не менее дурацкие ответы, я регулярно обращалась к «Дамскому оракулу» в подростковом возрасте, совершенно игнорируя предлагаемые книжечкой рекомендации. Думаю, для этого он и нужен. И хотя я вовсе не была похожа на викторианскую девочку с веером с обложки, мои заботы не особенно отличались от ее забот. Любит ли она меня? Будем ли мы счастливы? Знает ли кто-нибудь мой секрет? Будет ли она и дальше любить меня, если узнает?

Я считала себя мастером игр в вопросы и ответы. Я играла в них с мамой, и она объясняла, что есть множество способов правильно ответить на поставленный вопрос. Когда полицейский впервые сказал: «Я должен задать тебе несколько вопросов», это было как бальзам на душу. Если все можно выяснить, проанализировать и уладить с помощью вопросов и ответов, значит, через пару часов проблема будет решена.

Но оказалось, что его вопросы мне не под силу. С ответами все время было что-то не так. Я пробовала другие ответы. Сообщала другие вещи. Я всматривалась в лица в ожидании знака, что все делаю правильно: если гримаса непонимания и растерянности сменится удовлетворением и одобрением, значит, все идет как должно. Но все, что я знала о вопросах и ответах, теперь не помогало. Был лишь один правильный ответ, и полиция его знала, а я — нет. И чем больше разных ответов я пробовала, тем хуже шли дела.

Полицейские просматривали предыдущие записи в своих блокнотах, проверяя, что я говорила в прошлый раз, вчера, позавчера,

и ответы не совпадали. Вчерашний ответ не сработал, раз маму до сих пор не нашли, и потому я попробовала другой ответ. Кружила, собирала случайные вещи, старалась объяснить, используя все свое воображение, как они могут помочь в поисках. В итоге мне вообще перестали задавать вопросы. Я облажалась.

Полицейские, например, часто спрашивали, где она могла бы оставить записку. Где она могла оставить записку? Люди, которые собрались навсегда войти в реку, часто оставляют письма. Но шел дождь, так что конверт размок бы. Может, в старой часовне? Там стояли какие-то старые пустые банки из-под варенья, но в них нашлись только полусгнившие ленты от букетов и венков, свечные огарки, пауки и мох.

Может, письмо унесла полноводная река, и его прибило к неизвестному берегу, к тростниковым зарослям, и вода растащила его на мокрые клочки. Может, оно лежало в ее кармане. Но скорее всего, мы не нашли никакого письма потому, что она его не писала. А без письма мы не могли доказать, что она покинула нас добровольно.

Еще было много вопросов о том, что она могла взять с собой, уходя. Плащ — если собиралась в долгий путь. Резиновые сапоги — если планировала идти по размокшей грунтовке или срезать путь через поле. Деньги — чтобы воспользоваться общественным транспортом. Косметику — для встречи с кем-то. Красивую одежду. Чемодан — если намеревалась путешествовать в компании. Карта — если знала, куда именно едет.

Только вот понять, что человек взял с собой, — задача не из простых. Для начала надо хотя бы знать, чем вообще этот человек владел и что конкретно осталось на месте после его ухода. Мы не знали ни того, ни другого.

Эдвард пытался оградить меня от допросов, но безуспешно. Я была одной из последних, кто ее видел, так что меня опрашивали в обязательном порядке. И вообще, я постоянно была рядом, отвлекая Джо, пока Эдвард беседовал с полицией: я внимательно вслушивалась в голоса, доносящиеся из открытой кухонной двери, прокрадывалась на лестницу, когда не могла заснуть, и прислушивалась к поздним телефонным разговорам с коллегами и друзьями. Что она скрывала? С кем могла встречаться?

Вот их любимый вопрос. Каждый раз, когда кто-то новый пытается что-то расследовать, они возвращаются к этому вопросу. Самое любимое направление расследования. Я для себя давно закрыла тему, но она так нравилась детективам, что придется сейчас рассказать и про нее. Если можете так же легко, как я, ее опустить — пожалуйста, на ваше усмотрение.

В семидесятых в деревнях появилось очень много образованных городских женщин, которые верили в возвращение к природе. Они мечтали, чтобы их дети гоняли на велосипедах по грязным дорогам и строили в кустах шалаши. Они хотели сами выращивать овощи, варить компоты и шить одежду. Но тут возникла загвоздка: выходит, они теперь должны были вернуться на кухню и перестать самостоятельно зарабатывать? Получается, они вернулись на поколение назад, передав чековые книжки и ключи от автомобилей в руки мужьям?

Моя мама фактически выросла в бакалейной лавке; бабушка работала там по двенадцать часов в сутки рука об руку с дедом и на равных правах распорядилась бюджетом. Мама провела детство на полу магазина, и бабушка кормила ее прямо за прилавком, пока мама не подросла настолько, чтобы носить и складывать товары. С обратной стороны прилавка дед сделал выдвижную полку, за ней мама делала уроки и готовилась к экзаменам, параллельно присматривая за магазином. И университет она выбрала ближайший к дому, чтобы работать по выходным.

После смерти бабушки и бизнес, и дед рассыпались на глазах и не протянули без нее даже года. После оплаты похорон и раздачи долгов лавка закрылась. Мама как раз была студенткой. Последний учебный год она жила в общежитии, а буквально через неделю после получения диплома вышла замуж за Эдварда. Он преподавал у нее историю.

Она была из семьи работающих женщин, которые из поколения в поколение ни на секунду не сомневались в своем праве зарабатывать деньги. У них не было выбора. Няньки считались излишествами для богатых. Дети просто должны были молча помогать и не путаться под ногами. Моей маме не у кого было учиться, когда она оказалась в деревенском доме-развалюхе и решила самостоятельно возделывать сад и растить детей. Пришлось изобретать свой путь.

Никакого общественного транспорта. Никакого интернета. Ни машины, ни собственного дохода. Она никого не знала, а поскольку я не посещала школу, то и с другими родителями она не общалась.

И когда все эти образованные идеалистки оказывались отрезанными от мира профессионального труда, денег и власти, происходила одна и та же штука: романы. Интрижка в деревне — это тайные встречи в сарае или в поле на отшибе. Интрижка — значит, все будет в курсе. В деревне не бывает секретов.

Я не думаю, что в тот день она шла на встречу. Если бы она вообще собиралась куда-то идти, она бы заранее попросила миссис Уинн задержаться и присмотреть за нами. Она бы оставила бутылочку молока и расписание кормлений. Она бы надела хорошие туфли и плащ. Взяла бы деньги, сумку. Вызвала бы такси, дошла бы до машины в резиновых сапогах, с зонтом в одной руке и сумкой с туфлями — в другой.

Мы знаем, что она поступила бы именно так, потому что когда много лет назад она отправлялась на встречу, то поступала именно так. Вся деревня об этом знала. И я теперь знаю тоже. Она встречалась с мужчиной, которому принадлежала земля на другой стороне деревни. Она как-то спросила в местном магазине, нет ли кого-то в округе, кто мог бы помочь с садом, дать пару советов, продать немного удобрений для овощных грядок, и хозяйка магазина обещала попросить некоего Стэна заглянуть.

Однажды утром перед завтраком мама вышла в сад прямо в халате — выпить чаю, выпустить курочек из курятника, — а там стоял он, опирался на садовые вилы и сворачивал самокрутку. Он сказал, что она неправильно все перекопала, что яблони уже и подрезать нет смысла, и вообще эти яблоки годятся только в выпечку, и попросил два куска сахара и побольше молока.

Стэн не вписывается в закрытые пространства. У него типично деревенская манера говорить неторопливо, обрываясь на середине фразы и пожимая плечами либо переводя взгляд вдаль — дескать, ну вы поняли, разглагольствовать не буду. Понятия не имею, насколько правдивыми были слухи о нем и моей маме. Сама я знаю о нем лишь одно: он был добрым.

После пропажи мамы он как-то раз выгрузил у нас во дворе гору дров — совершенно бесплатно, потому что все равно пилил деревья,

так хоть нам будет чем согреться. Он приезжал в свободное время и чинил нам крышу или латал сарай в непогоду. Он вырыл канавы у нашего забора, чтобы участок не заливало. Когда сад совсем зарос, он привез мотокосу и выкосил все до состояния вполне приемлемого газона, а перед этим прошелся под всеми древними яблонями и собрал в мешки гнилые и усиженные осами опавшие яблоки.

Он никогда не входил в дом. Если его приглашали, он пожимал плечом и извиняющимся жестом указывал на недокуренную самокрутку. Он стучал в кухонное окно и говорил: «Можно, пожалуйста, два куска сахару и молока побольше». И всегда оставлял кружку где-то в саду.

Я никогда не думала, что все эти годы он был к нам так добр из чувства вины. Он дружил с нами в такое время, когда остальные старались держаться от нас подальше. Полицейские задавали ему вопросы, снова и снова, годами приезжая и заставляя повторять одно и то же, расстраивая его жену, и он ни одного дурного слова в наш адрес не сказал. Он продолжал приезжать, чинить черепицу, вынимать гнилые доски из дверей сарая, выгрести ил из канавы и таскать дрова.

Он очень простой и легкий человек. Немногословный. Если у них был роман, мне ли их судить? В отличие от каждого из них, я даже брак не потянула. Не то что брак, а даже что-то приблизительное — не потянула. Вот такая, одинокая, сама по себе — смогла бы я устоять перед добрым мужчиной, у которого возникла бы нежность ко мне? Сомневаюсь.

Я не все вам рассказываю. Они ведь забрали все ее дневники и записные книжки. Все прочли. Сфотографировали записи, касавшиеся этого романа. Она ведь писала стихи. Довольно откровенные любовные стихи. Их показали папе. Нарочно показали, чтобы увидеть его реакцию, понять, способен ли он на убийство. Ревнивый, обиженный муж? Вспыльчивый тип? А может, наоборот — спокойный, бессердечный? Может, он держал ее взаперти в этом доме, крайнем на улице, без машины и денег, чтобы подавить ее волю? Почему ребенок не в школе? Под одеждой синяков нет? Они что-то скрывают?

Все эти дневники, записи, стихи появились еще до моего рождения. Я не в курсе, как односельчане обо всем узнали и как моим родителям удалось спасти брак и жить дальше — вроде бы даже

счастливо. Я не знаю, насколько сплетни ее задели или помешали завести друзей. На моей памяти родители были настолько близки, словно им вообще никто больше не нужен. Они договаривали реплики друг друга и синхронно поднимали брови, подразумевая множество разнообразных вещей. Даже книги читали одни и те же.

Я уже предвижу следующий вопрос, так что тут же с ним и покончу. Нет, это не та история, в которой я узнаю, что мой отец — не мой отец, и именно поэтому у меня такие сложные отношения с мужчинами. Да, у моей мамы почти наверняка была интрижка на стороне еще до моего рождения. Но так не бывает, чтобы ты всю жизнь жила с такими веснушками, а община при этом сомневалась, чья же ты дочь. Джо — точная моя копия, а я — почти точная копия папы. Кроме того, я вообще никогда этому не придавала значения. Какая разница? Это в целом сложно и в целом неплохо — быть дочерью моих настоящих родителей. Этого во всех смыслах более чем достаточно.

Еще я как-то подслушала, что Эдвард говорил о тех временах. Ему звонил друг, он вынес телефон в сад, шел мимо открытого окна, и до меня донеслось: «Я в те времена тоже был не идеальным мужем, знаешь ли». Насколько я понимаю, у него тоже был роман. Как минимум один. Минимум один, о котором знал этот его друг.

Для подобного есть специальное слово. «Преуменьшать». Это проще, чем отрицать. Отрицание предполагает способность игнорировать исходные данные. Преуменьшение же предполагает, что ты все видишь, все слышишь, просто делаешь менее значимым. Я так отношусь к свидетельствам измен моих родителей. Да, они были. Но я выбираю верить, что не в них кроются ответы на все вопросы.

Деревенский быт — сплошь преуменьшение. Мы так живем. Если кто-то совершает преступление, мы такие: «Ой, ну это же наш Джонси, он не хотел». И пусть я давно оставила деревенскую жизнь позади, привычка никуда не делась. Я преуменьшаю. Знаю, это чревато. Должна понимать. Это такая устаревшая штука, более типичная для поколения моих родителей. Люди их возраста вечно говорят: «Не преувеличивай». Особенно детям. Не драматизируй. Да ладно тебе, Марианна, «ненависть» — слишком сильное слово. Но нет.

Я ненавидела школу. Ненавидела эти форменные носки. Ненавидела учителей. Ненавидела одноклассников. Ненавидела свою

прическу. Особенно ненавидела учителя чтения, который проводил четвертные аттестации. Ненавидела письма из школы с этими их специальными преуменьшающими словами. Марианне нужно время, чтобы привыкнуть к школьному распорядку. У Марианны есть способности, но ей следует больше уделять внимания дисциплине, чтобы достигнуть результата. С Марианной временами бывает сложно.

Если «ненависть» — слишком сильное слово, то как вам нравится «любовь»? Моя мама любила Стэна? В ее стихах сказано, что любила. А папа ее простил? Или «прощение» — это тоже слишком сильное слово?

10

Ложка по имени Джеффри



Ложка по имени Джеффри



*Раз-два-три-четыре-и-пять,
Дом сдается, можно стучать.
Бывший жилец его пил и гулял,
Вот и жилье свое потерял!*

Я поначалу не особо противилась переезду. Эдвард усадил меня и объяснил концепт денег и суть денежных отношений. Неожиданная информация. Я видела, что нашему дому нужен ремонт, потому что он протекает, промерзает и скрипит. Теперь же я узнала о стоимости детского сада, проезда и о штуке под названием «долги». Оказалось, что все эти невыносимые репетиторы, которых я игнорировала и которым грубила, обходились в крупную сумму того, что называется деньгами.

Я, как подросток, считала, что переезд в город — это больше свободы, больше новых мест. Я слышала словосочетание «городское жильё» и представляла себе такое изящное здание с длинной террасой, подвалом, мансардой, каменным резным крыльцом. Гадала, можно ли мне будет занять самый верхний этаж.

Кроме того, наш дом превратился в абсолютно ветхий и безнадежный лабиринт, где из каждого угла разило чувством вины, а сад наглухо зарос непроходимыми колючками. Выезд к трассе весь покрылся ямами, и получалось, что либо машину надо бросать за воротами и пешком подниматься к дому в резиновых сапогах, либо каждый раз рисковать целостностью выхлопной трубы и прочих механизмов, расположенных под днищем автомобиля, а я даже не знаю, как они называются. И все это тоже стоит денег.

Джо пора было уходить из детского сада при колледже, где работал Эдвард. Садик, в отличие от школ, был открыт с восьми утра до шести вечера. Если бы Джо ходил в деревенскую школу, то с утра и вечером с ним сидели бы няни. Тогда в школах туговато было с группами продленного дня. А вот в городе можно снять жильё поближе к университету, и тогда Джо сможет ходить в тот же сад на завтрак, и к тому же там старших детишек отводят в школу группой и потом забирают. Получается, Джо остался бы с уже знакомыми детьми.

Я даже не подумала, что у Джо могут быть друзья. Что там они весь день делают — сидят на полу, кусаются и дружно жуют пластилин? До меня вдруг дошло, что у Джо есть свой отдельный мир, и он делит этот мир с Эдвардом во время их долгих утренних и вечерних поездок в машине, а я сталкиваюсь лишь с его обрывками — рваными фантиками на заднем сиденье, недопитым молоком

в чашках-непроливайках, поделками из всякого барахла, которые он привозил из детсада домой, но никогда даже не выносил из машины. А теперь весь этот мир, который я игнорировала, вдруг становится важнее моего.

К тому же у Джо была аллергия. В городской школе уже учился ребенок с тем же набором аллергических реакций, так что школа была готова предоставлять отдельное меню. Плюс на экстренный случай и Эдвард, и больница были в двух шагах.

Эдвард рассудительно заметил, что раз я все равно в школе почти не появляюсь, так какая мне разница, куда ходить. Может, там даже лучше будет. Он показал мне таблицу моей школьной посещаемости — и ее отсутствия. Зеленым были отмечены дни, в которые я посещала хоть какие-то уроки, а красным — прогулы, о которых Эдвард не знал. Оранжевым отметили те пропуски, когда учителя занимались со мной на дому.

Таблица выглядела как ночной фейерверк. А должна была выглядеть как плодородная нива. Я не ожидала, что школа так за всем следит. Мне никто толком даже не говорил ничего. Так я впервые в жизни запоздало поняла, что те, чья работа — следить за порядком, обычно как раз таки и следят за порядком.

С продажей дома возникли проблемы. Надо было поддерживать его в пристойном состоянии ради потенциальных покупателей, которые обычно являлись с агентами в рабочее время, когда я должна была находиться в школе. А я сидела дома. Так что мне приходилось прятаться то в сарае, то в саду, прикидывая, нравится ли им дом или нравятся ли они мне настолько, чтобы я могла его им уступить. Настал август, а покупателя не было. Джо дали место в городской школе. Мне тоже, хотя я и отказалась туда сходить. И что дальше?

Эдвард снова усадил меня и стал объяснять, что существует некий Краткосрочный Кредит, который предполагает еще большие долги, но зато мы сможем переехать в дом прямо возле его работы. Его хозяева переехали в дом престарелых, мебель им больше не нужна, так что мы можем въезжать и жить там хоть сейчас, а старый дом пока пусть продается. Краткосрочный Кредит означает, что всякие удобства в новом доме вроде ковриков и новой ванны придется отложить на потом, но коврики могут подождать, а начало учебного года — нет.

Я спросила: «С каких пор мы вообще замораживаемся насчет дурацкого начала дурацкого учебного года?», а Эдвард ответил: «С тех пор, как нам нужна государственная программа заботы о детях работающих родителей — и это, собственно, главное». Я-то думала, что речь пойдет об образовании. Правда, это было до того, как я узнала о деньгах.

Я впала в запоздалое и совершенно деморализующее уныние, отчего отказалась помогать собирать даже мои собственные вещи. На кухонном столе Эдвард разложил описание Нового дома и долго сидел над ним, приклеивая к плану записочки вроде «комната Марианны?», «пианино сюда?» или «семейный кинозал?». Я пролила на документы сладкий чай, поэтому некоторые глянцевые страницы склеились и фотографии интерьеров мы посмотреть не могли. Может, и к лучшему.

Я согласилась туда съездить и все увидеть своими глазами буквально за неделю до переезда. Мы въехали на мощеную кирпичом подъездную дорогу перед приземистым красным домом с безобразным эркером на первом этаже и пестрыми матовыми витражами в верхней части окон. Я отказалась выходить из машины. Но спустя некоторое время мне так приспичило в туалет, что пришлось идти и звонить в дверь, чтоб Эдвард впустил меня пописать.

Вдоль поворота дороги на обочине стояли оранжевые пластиковые цветочные горшки, полные жухлых листьев. Предыдущие хозяева приделали к входной двери крыльцо с поручнями вдоль стен. Дверной звонок выдавал короткую и невыносимо печальную мелодию. Нейлоновый коврик, укрывавший крыльцо, прихожую и лестницу, располагался на ступенях так, что каждый следующий элемент орнамента слегка смещался относительно предыдущего, вызывая рябь в глазах и головокружение. И еще везде неправильно пахло. Как будто пьешь воду не дома, а где-то в другом месте, и у нее неправильный вкус. Не плохой — просто неправильный.

Джо носился туда-сюда между двух смежных гостиных — одинаково квадратных, высоких и уродливых. Ему не удавалось дотянуться до дверных ручек, врезанных довольно высоко и сделанных из какого-то скучного хрупкого пластика. На дверях висели керамические тарелочки с нарисованными розовыми и лиловыми цветами.

Я рванула по лестнице в поисках туалета. Он оказался крохотной комнатусшкой с чем-то вроде ступенек перед унитазом, чтобы старикам было легче садиться и вставать. И розовым пластиковым держателем для туалетной бумаги.

Моя комната находилась в передней части дома. Там был малюсенький камин, выложенный бледно-коричневой плиткой, окруженный с обеих сторон здоровенными шкафами с белыми пластиковыми дверцами. На двух односпальных кроватях лежали желтые стеганые покрывала. В шкафах было полно цветного постельного белья, а на каждой полке виднелась аккуратная наклейка: ближняя спальня, дальняя спальня, новая спальня.

Новая спальня оказалась пристройкой к кухне, и она предназначалась Джо. Только из этой комнаты вынесли все старые вещи, чтобы не провоцировать у Джо обострение аллергии, а на пол в качестве меры против пыли уложили свежий ламинат. Эдвард заказал для Джо новую хитрую кровать-чердак с лесенкой к спальному месту и игровым домиком в нижней части, так что теперь большую часть времени был занят сборкой этой кровати, а Джо помогал ему, подавая не те инструменты и постоянно убегая с нужными деталями.

Я довольно долго занималась тем, что снимала с кроватей и вынимала из шкафов постельное белье и складывала его в коридоре. На кроватях были еще какие-то рюшечки, свисавшие до самых ножек. Каждая кучка белья пахла чужим домом. Я сняла с окон цветастые занавески, и вдруг крохотные пластиковые крючочки, на которых они держались, просто развалились у меня в руках, усыпав обломками пушистый желтый коврик у окна. За занавесками обнаружился такой же цветастый тюль — целые километры жесткой ткани, пахнущей лимоном.

Когда я и их унесла в коридор, Эдвард заметил: «Ты бы не спешила убирать тюль, пригодится. За окном фонари, людям с улицы все будет видно». Мне и в голову не приходило, что окна занавешивают, чтобы с улицы никто не заглядывал. За окнами старого дома были заборы да коровы, а мимо проносились разве что редкие совы и летучие мыши. Занавески нужны были для сохранения тепла, когда затоплен камин, или чтоб не тянуло сквозняком из кухни.

Потом мы проголодались и отправились вниз по улице, мимо бесчисленных однотипных краснокирпичных домиков с эркерами

и идентичными гравийными подъездными дорожками, по одной на каждые два дома. Наконец мы добрались до небольших торговых рядов, взяли там уличной еды и бутылку молока. Путь показался мне очень длинным, потому что я привыкла воспринимать каждый дом как достопримечательность, а тут их было слишком много.

Пока мы в кухне искали, во что бы налить Джо попить, нам попались маленькие стаканчики с олдскульными мультяшными персонажами. Эдвард предположил, что это часть коллекции. Ясно было, что ими пользовались дети этого дома — очень давно, когда здесь еще жили дети. Были и другие сокровища. Например, мы нашли детскую ложечку со слоненком на ручке и гравировкой «Джеффри».

— Везуха, — сказала я. — Сперва нам достались в нагрузку лилово-зеленые цветастые простыни, а теперь вот еще и ложка по имени Джеффри.

Эдвард ответил:

— Да ну, глупости. Джеффри — это однозначно имя слоненка, а не ложки.

Я понимала, что раз уж мы начали шутить о столовых приборах, то обратной дороги нет. Придется *привыкать*.

Мы всегда говорили — Новый дом. Двадцать семь лет мы называли его Новым домом. А поскольку речь шла о Новом доме, то нам можно было бы простить наши жалкие попытки его освоить, присвоить, сделать его нашим домом. Назови мы его просто «дом», пришлось бы полноценно принять переезд, убрать из дальней гостиной кресла прежних хозяев и сменить ужасные обои в ближней гостиной, а не просто закрывать их новыми книжными полками.

Не только мне тяжело было привыкать. Эдвард никогда не признавался, что скучает по Старому дому. Да и необходимости не было. Он регулярно проезжал мимо Нового дома, возвращаясь с работы, — автоматически выезжал на привычную дорогу, а потом разворачивался и ехал куда надо. Помнится, из-за слишком крутого поворота он однажды заехал на дорожку под неправильным углом, не вписался в ворота и поцарапал крыло машины. Так и ездил потом все время с царапиной.

Он заглядывал в сервант в поисках чего-то несуществующего, а потом захлопывал дверцу со слегка избыточным усилием. Или я вдруг заставала его у кухонного окна — он вглядывался в пустоту,

будто ловил след или призрак чего-то бывшего. Я видела, как пренебрежительно и отстраненно он смахивал с подоконников всякое барахло, будто раздражаясь, что все эти вещи не имеют к нему отношения.

По выходным он предлагал: «Давайте, может, заскочим в нашу старую избушку, поглядим, как она там, не развалилась без нас?» — и пусть он старался сохранить бодрый тон, но правду не утаить. Я как-то даже не вникала, пока он не назвал старую «избушку» словом «она».

Новый дом был определенно «он». А главное, что он знал, что не особо нам нравится, и, когда мы уезжали на выходные, готовил нам сюрпризы. Например, мы возвращались воскресным вечером, а он не позволял ключу повернуться в замке входной двери, и мы дергали этот ключ, пока он не переламывался прямо в замочной скважине, так что приходилось выбивать окно туалета на первом этаже, чтобы я влезла в дом, буквально втягивая себя вверх тормашками внутрь, хватаясь за туалетный бачок.

Новый дом смеялся над нами. Что бы мы туда ни привозили, он все равно заполнял пространство и предметы запахом талька и старой одежды. Стоило нам подъехать на машине, как с крыши летели вниз куски черепицы и приземлялись прямо возле колес со звуком предупредительного выстрела. Межкомнатные двери разбухали и не пускали нас в комнаты. Электрический камин чуть не взорвался, когда мы впервые его включили. Канализация практиковала нечто под названием «гидравлический удар»: если среди ночи смыть в туалете, то ближайшие полчаса придется слушать непрерывный стук в трубах, причем он мешал спать не только нам, но и соседям, сообщавшим, что при прежних жильцах такого не бывало. А еще мы как-то раз вернулись домой в воскресенье и, прежде чем включить свет, едва успели сообразить, что стоим по щиколотку в воде, — иначе взлетели бы на воздух. Прорвало водяной бак, и вода потекла со второго этажа на первый, залив проводку.

Денег на ремонт у нас никогда не было. Сломанный ключ так и торчал в дверях чуть ли не целый год, а мы просто ходили через заднюю дверь. Протекший потолок высох, на нем осталось рыжее пятно, а электричество в прихожей отключилось насовсем. Мы просто стали включать свет на лестнице. Накопительный бак мы перекрыли,

перешли на электрический водонагреватель. То есть каждый раз, когда кто-то собирался умыться или вымыть посуду, нужно было сперва притащить сверху ведро воды. От постоянных брызг лестница скоро вся покрылась пятнами. Да ради бога, говорил Эдвард, как только будут деньги — купим новый ковер.

Выбитое окно в туалете первого этажа мы закрыли куском фанеры, так что, когда я решала вернуться из школы пораньше, попасть в дом было легко. Обычно где-то в девять тридцать утра я привычно втискивалась в окно, потом подтягивалась, обнимая дурно пахнущий унитаз, и успешно падала на пол, ударяясь чем-нибудь и роняя пластиковый стульчак и подставку Джо.

Вскоре оказалось, что многое из того, чем мы так тяготились в старом доме, переехало вместе с нами в новый дом. Нас тяготили вещи. Сама вещественность вещей. Например, протухший мешок с сырым полотенцем из бассейна, забытый на вешалке под плащами. Потерянные письма из школы. Какие-то кусочки пазлов, бесплатные игрушки в пластиковых упаковках, валяющиеся на столе нераспечатанные конверты из банка, недорисованные рисунки, старые списки покупок, которые мы забыли взять с собой в магазин, детальки лего, школьные рубашки с оторванными пуговицами, мертвые растения, половинки прищепок, пакетики с семенами, которые никто никогда не посеет, и полупустые цветочные горшки, в которые Джо что-то сажал в школе, но потом ни разу даже не поливал. Все эти вещи больше не имели смысла. Эта их бессмысленность окружала нас, заставляя искать приюта от комнаты к комнате.

В Новом доме нас накрыло волной новых вещей, которые мы, не приходя в сознание, нагромодили поверх найденных старых, принадлежавших другой, больше не существующей семье. Например, в глубине шкафа, где стояли поильники, у которых ни один носик не подходил к самому поильнику, обнаружилась целая батарея кружек — все как одна или с трещиной, или с отбитой ручкой. Там же стояли сувениры из разных мест, где мы никогда не бывали: какие-то керамические горшочки с блестящими крышечками, чтобы как-то хитроумно готовить яйца, специальные ложечки для мармелада с эмалевыми апельсинами на ручках и кривые пепельницы, раскрашенные под божьих коровок, стоявшие там со времен, когда дети в школе на уроках гончарного дела еще делали пепельницы.

Под раковиной мы нашли полупустые банки с заплесневелым собачьим кормом, подписанные «корм для черепахи». Нам попались оранжевые стеклянные вазы и отсыревшие семечки для птиц, которые проросли и превратили сливную трубу в зеленый уголок. В ящике для столовых приборов лежало несколько приспособлений для открывания банок, какими пользуются пожилые люди со слабыми руками, а еще — полупустые упаковки бумажных салфеток с запахами чужого Рождества и детских дней рождения.

Несколько раз я пыталась удрать в старый дом вместо того, чтобы идти в школу. Я нарочно пропускала школьный автобус, возвращалась в новый дом, забиралась через туалет и думала: какая чушь! — поеду домой. Я знала, что в старом доме пусто. Я думала, что если разобью там лагерь и напрочь откажусь уходить, то Эдвард будет вынужден бросить этот дурацкий новый дом и вернется вместе с Джо.

Только вот добраться до старого дома с одними только деньгами, сэкономленными на школьных обедах, было непросто. Допустим, можно зайцем пробраться в поезд через Шропшир, избежать встречи с кондуктором, выскакивая и запрыгивая обратно на пустых платформах возле неизвестных крошечных деревень, но от конечной станции все равно надо было еще долго добираться автобусом, а автобусы практически не ходили.

Мне дважды удавалось проделать весь путь. Во второй раз Эдвард забрал меня уже с обещанием, что вычтет стоимость бензина из моего бюджета на школьные обеды, так что в ближайшие две недели я буду питаться в школе домашними бутербродами. Он также был недоволен тем, что пришлось выдернуть Джо из привычного режима дня и колесить с ним туда-сюда, вместо того чтобы спокойно накормить ребенка рыбными палочками и усадить его читать. И сказал, что в следующий раз он отправит за мной полицейских. Если они вообще согласятся поехать.

По пути домой он рассказывал, как сам примерно в моем возрасте убежал в этот же дом. Он учился в ненавистной школе-интернате и прекрасно понимал, что если сбежит домой, то родители незамедлительно отправят его обратно, и потому бежал обычно к деду Мэтью. Автобусы тогда не ходили вообще, так что он проделывал путь пешком. Иногда дорога занимала несколько дней. К путешествию он

готовился, припрятывая остатки школьных обедов, так что с собой у него обычно был подсохший хлеб и маргарин в оберточной бумаге.

Дед Мэтью обычно разрешал ему переждать несколько дней, а уж потом отправлял обратно. Получалось, что папины «каникулы» занимали примерно неделю — если посчитать дорогу и время на обмен письмами со школой — и эта неделя стоила и голода, и стертых в пути ног, и порки по возвращении. Вот почему он ТАК любил старый дом: в нем всегда было безопасно.

Я вообще не понимаю, как мы смогли оттуда уехать. Похоже, мы думали, что наши сердца и без того разбиты вдребезги. Что больнее уже не будет. Однако больнее стало. Остаться без дома, где моя мама жила счастливо, — как потерять ее еще раз. Постепенный упадок старого дома в наше отсутствие, погружение его в хаос и холод — все это ощущалось физической утратой, от которой подкашивались колени.

Думаю, Эдварду было тяжелее всех, поскольку вместе с домом он терял и свое детство, а еще — из-за Денег. На нем висели два разваливающегося дома, интерес покупателей оставлял желать лучшего, а Краткосрочный Кредит окончательно выбелил его волосы, согнул спину и превратил его в старика. Каждый новый учитель Джо был уверен, что на родительские собрания ходит его бабушка.

Джо тоже называл наше жилье новым домом, хотя говорил, что никакого другого дома не помнит. Он все еще дружил с ребятами из детского сада, с детьми коллег Эдварда. Именно благодаря его длинному списку аллергических реакций мы избавились от тех кошмарных ковров, под которыми обнаружился деревянный пол, сохранившийся — как раз благодаря нейлоновым коврам — в отличном состоянии.

Мы так и не освоились в новой кухне. Как вообще кухня может быть холодной? Такое ощущение, что сколько бы и что бы там ни готовили, она все равно оставалась сырой и промозглой, а еще там никогда не пахло пищей — разве что лимонами. Вот лимонами там пахло всюду. К тому времени, когда еда была готова, мы уже настолько замерзли, что есть ее в кухне не представлялось возможным, так что мы относили тарелки в дальнюю гостиную и ели там, сидя на ненавистных стульях у коричневой коробки газового камина.

Сейчас мы с Эдвардом, как двое взрослых людей, можем спокойно говорить о старом доме — что он для нас значил, как мы пережили расставание с ним. Мы можем часами это обсуждать. Вспоминать, как наблюдали за летучими мышами, вылетающими из сарая. Как сидели за длинным потертым столом в кухне и собирали пазлы, а посреди стола стоял старый коричневый чайник. Как садовая ограда заливалась теплым вечерним светом. Как старые раскидистые яблони склоняли к земле ветки, полные налитых плодов. Как мы ходили по каменным полам и выщербленным ступеням. Как смотрели в высокое окно над лестницей.

А еще есть вещи, о которых мы не говорим. Например, мы не вспоминаем, как мама подпевала радиоприемнику по утрам. Не вспоминаем душистое свежее тесто. Высокие пучки садовых трав в кувшинах, запах разжигаемого по вечерам огня, сладкий кедровый аромат коробки для вязания, переходящий на все связанные ею джемперы. Ее руки, пахнувшие свежей, чистой землей, мятой и лавандой. Ее тихий скрипучий, чуть хриплый смех, ее любовь к дурацким шуткам про «тук-тук», ее зачесанные назад и собранные в пучок волосы, светло-каштановые пряди, спадающие на лицо и заправленные за уши.

Сейчас можно было бы сказать, что все было ошибкой, что нам просто не хватило воображения, что мы поддались скорби и потому покинули дом — а теперь горько об этом сожалеем. Но в тот момент нами руководил сухой прагматизм. Невозможно жить с семьей вдали от работы, у черта на куличках, в старой развалюхе, которую надо ремонтировать, если у тебя нет партнера, который хотя бы присмотрит за детьми.

Теперь-то мы способны прикинуть, можно ли было поступить иначе; теперь мы уже не те измотанные несчастные люди, которые не видят других решений. Мы ведь могли просто снять дом в городе на какое-то время, мы могли нанять круглосуточную или проходящую няню, продать сарай или землю, или продать вообще все, оставив себе маленький участок и построив там новый дом. Но нет. Хорошие идеи не приходят в голову, когда тебе плохо. Позже, когда становится лучше, возможные решения видятся вдруг вполне отчетливо, но, чтобы их увидеть своевременно, нужна либо фантазия, либо что-то еще. Нужно верить в то, что твои усилия кому-то нужны.

Каждый наш шаг словно бы сообщал: возвращайтесь. Каждый неодушевленный объект намекал, что мы сбились с пути, пытался навести нас на след и запах дома, но мы, как та самая лошадь из поговорки^[6], наотрез отказывались пить, не позволяли инстинктам вести нас туда, куда так тянуло. Старый и новый дома объединились против нас, принуждая вернуться на свое место, толкая вспять, вышвыривая наружу, но мы не слушались.

Все это мы обычно обсуждаем в дальней гостиной нового дома. Сидим на тех же деревянных стульях, что стояли там еще при нашем переезде. В то время на них были эластичные бежевые нейлоновые чехлы, а когда они пришли в негодность, под ними обнаружилась жесткая полосатая обивка, как в поездах. Мы накрывали стулья покрывалами, чтобы обивка не кусалась, но покрывала спадали. Впервые увидев эти стулья, мы пообещали себе от них избавиться. Естественно, этого не случилось.

Время от времени я обещаю себе сшить нормальные чехлы, которые не будут сваливаться, но все руки не доходят. А еще бывает, кто-то из гостей скажет, что стулья стоят кучу денег, что мало кто не избавился от них в конце шестидесятых, когда они совсем вышли из моды, и это что, оригинальная обивка? О, да это же золотая жила! Так что мы пожимаем плечами, продолжаем на них сидеть и жаловаться на кусачую обивку, и даже спустя двадцать семь лет делаем вид, что эти стулья не имеют к нам никакого отношения.

11

Хворост



*Покрутись,
Покажись,
Поскорее
Подстригись.
Стригли ночью,
Стригли днем,
Стригли вилкой
И ножом.*

Я еще не рассказала про могильный камень. Тяну время. Потому что начну рассказывать про камень — придется рассказать и про Эмили. А потом про мать Эмили. И про ребенка. И про пожар. А это стыдно. И мне стыдно, и Эдварду. Стыд — это липкая черная жижа, забивающая трубы под раковиной. Ты сливаешь грязь — а стыд выталкивает ее обратно на всеобщее обозрение, размазывая по всей раковине. И ничего не сделать. И вода не будет утекать в канализацию, пока не вычистишь все до последнего уголка. А я хочу чистую воду. Таковую прозрачную, чтоб было видно дно.

Мы с Эмили встречались, когда мне было пятнадцать. Ей было целых восемнадцать — внушительная разница, по моим ощущениям. Эмили училась не в школе, а в колледже, и потому в любое время могла одеваться, как в голову взбредет. Ей в голову взбрела черно-серая многослойность из дорогущих и весьма драных вещей. Как паутина. На мою беду, она съехала от родителей и вообще отказывалась их признавать. Стоило о них спросить, как она отзывалась: «А, эти».

Эдвард не питал иллюзий. Он говорил: «А кто, по-твоему, платит за ее квартиру?» Эдвард в чем-то знал о ней больше моего, потому что ее мать заведовала его кафедрой, но пока мы с Эмили были вместе, я ухитрялась об этом не думать. Мы с ней познакомились на барбекю у ее родителей. Пошел дождь, все сотрудники кафедры истории вместе с супругами и детьми спрятались в доме, заполонив три огромных гостиных и гигантскую кухню и угощаясь напитками и закусками с большой мраморной стойки посередине. Все, кроме меня.

Я же убежала в один из деревянных летних домиков, где развлекала себя ходьбой на беговой дорожке. Эмили сидела потурецки на ярко-желтом коврике для йоги и курила здоровенный косяк. Она протянула его мне и сказала: «А я знаю, кто ты. Это у вас кто-то умер при подозрительных обстоятельствах. Это ты разучилась читать». Я ускорила беговую дорожку и взяла косяк. Она добавила: «Мне интересно — ты забыла, как читать, а что еще ты забыла?»

Хороший вопрос. Но ответить я никак не могла. Потому сказала: «Кто плохо читает, у того просто обязана быть блестящая память. Подумай об этом». Она подошла к рубильнику на стене и выключила беговую дорожку. Я затормозила, остановилась, а она поцеловала меня. Я было собралась спросить, откуда она знает про чтение, потому

что мне казалось, что это наша с Эдвардом тайна, но она снова закрыла мне рот поцелуем. Не для этого ли я открыла рот? Не сложилось ли такого впечатления?

Ее губы отдавали красным вином, травкой и печеньем «хворост». Я подумала, что она успела поесть того, что стояло в доме на столе. Позже, раз за разом целуясь с ней, я поняла, что слегка пряный привкус «хвороста» был ее естественным вкусом. Я сказала: «У тебя вкус печенья». Она ответила: «Прикольно. А у тебя — мармеладок». Видимо, из-за травки нас это весьма развеселило.

Она стащила через голову свою драную безрукавку и спросила: «А тут? Какая я на вкус тут?» И я припала к коже под ее тощими, похожими на крылья, ключицами — справа и слева. Сытно, солоно. Потом я сама стаскивала с нее слой за слоем лоскуты на завязках, белье на бретельках, обнаруживая на ее животе вкусы апельсиновой кожуры и ванильного кекса, на внутренней стороне бедер — злаковых батончиков, и снова красного вина и «хвороста» — у нее между ног. Я же отдавала лимонной цедрой и белым вином. Наверное.

Она спросила, нет ли у меня в сумке блеска для губ, потому что все ее барахло осталось в доме. Я подала ей крохотную баночку кокосового масла, и мы втирали его чистый запах в свои пальцы и между ног. Эмили любила смотреть. У нее были огромные зеленые глазищи, еще и увеличенные круглыми очками в черной оправе. В остальном она была крохотной.

Едва ли полтора метра ростом, нога тридцать шестого размера. Кожа землистого оттенка, зимой почти желтоватая, темно-коричневые брови. Настоящий цвет волос не разобрать, потому что выкрашены они были в шесть оттенков минимум. Я снимала с нее одежду слой за слоем, и она становилась будто бы все меньше и меньше, пока не превратилась в крохотное темное существо в шелухе сваленных в кучу одежек. Рядом с ней я казалась себе здоровенным бледным пузырем, словно, раздеваясь, я становилась все больше и обширнее, освобождаясь от наслоений, которые меня сжимали и прятали.

Мы выкурили еще один косяк и оделись. Пуговица джинсов липла к моим соленым и жирным от кокосового масла пальцам, а края одежды лоснились сияющими пятнами после секса. Дождь прекратился, почти всю еду съели без нас. Люди выходили в сад поиграть в бадминтон. Эмили посоветовала мне вернуться в дом,

чтобы не вызывать подозрений. Она со мной не пошла. «Подозрения» было одно из ее любимых словечек. А Эдвард — одним из ее главных объектов подозрения.

Сейчас я осознаю, до какой степени очевидными были признаки ее обеспеченности. Она могла себе позволить растянуть на четыре года двухлетний курс колледжа. Она могла себе позволить жить в отдельной квартире и покупать все, что заблагорассудится. Могла позволить целый тренажерный зал в одном из летних домиков своей матери. Могла позволить иметь при себе постоянный запас травки. Могла позволить не придавать всему этому значения.

По выходным она работала в кафе — во всяком случае, говорила, что работает. Заведением владела знакомая ее матери, и я не уверена, что Эмили часто там появлялась. Она говорила, что я вполне могу туда заглядывать, если захочу ее увидеть. Так что я часто сидела в этом кафе, растягивала один напиток на целый час и ждала, не появится ли она на рабочем месте, не найдет ли время посидеть со мной пару минут. Иногда мне везло.

Я видела, что Эдвард не в восторге от моего с ней общения, и это было непонятно. Он особо не распространялся. Но когда я рассказала, что была с ней в летнем домике, на его лице промелькнула паника. Почему она не вернулась в дом вместе со мной? Что она говорила? Он сказал, что встречал ее несколько раз, много лет назад, когда ее мать только пришла на кафедру, и что уже тогда она была трудным ребенком. Я хотела знать, в каком смысле — трудным? Она была совсем не такой, как я.

Видишь ли, ответил Эдвард, — она, видимо, просто держала оборону матери, по-собственнически. Да от кого бы ей обороняться? В общем, я ничего не поняла. Я сказала, что, может, она повзрослела. Изменилась. Да, согласился он, по идее, ей уже восемнадцать, и у них вроде бы даже все устроилось. У них? О ком он? Конечно, со стороны кажется, что они в целом отлично устроились: дом с лужайками для бадминтона, мраморные столешницы, спортзал, запасы «хвороста». Он удивился — «хвороста»? Мне хочется «хвороста»? Мы сто лет его не покупали. О чем речь вообще?

Эмили перестала делать вид, что работает в кафе маминой знакомой, и устроилась гардеробщицей в ночной клуб. Она впускала меня через эвакуационный выход за раздевалкой в подвале, и мы ночь

напролет целовались и шарили по карманам чужих курток, а потом делили добычу. Мы никогда не раздевались — вдруг кто-нибудь зачем-нибудь придет, а еще мне приходилось прятаться под вешалками, когда в клуб заглядывали владельцы. Короче, ночь мы проводили в состоянии перевозбуждения, протискиваясь маслянистыми пальцами друг другу в узкие джинсы и оставляя следы укусов под воротниками футболок. Дождливыми ночами мы целовались в тумане пара, исходящего от влажных шерстяных пальто, а вокруг плыли ароматы лосьона после бритья, исходившие от влажных джинсовых курток, и марихуаны, которой тянуло от мокрых парок.

Эдвард пытался меня предостеречь. Он говорил, что я интересую ее по множеству разных причин и что ни одна из этих причин не имеет ко мне отношения. И к ней тоже. Я думала, он переживал из-за травки.

К тому же я не особо обращала внимания на все, что он о ней говорил. Мне нравились ее странные шмотки разных оттенков черного, и ее голова — с одной стороны выбритая, с другой — сплошные цветные пряди. Я так любила трогать эту бритую кожу, наслаждаясь мягкостью плоти и покалыванием щетины. Мне нравилось помогать ей делать новый пирсинг вдоль ушных хрящей. Мне нравились ее длинные тонкие ментоловые сигареты и странные коктейли из водки и всего, что попадет под руку. Мне нравилась ее коллекция винтажных шляп, развешанных на гвоздях по всей стене ее однокомнатной квартирki.

Я любила и ее дымный запах, и ее комнату, где она жила одна, соседствуя только с кучами книг, оставленных прошлыми жильцами: этими книгами она то подпирала дверь в ванную, чтобы та не захлопнулась, то складывала из них кофейный столик. Мне нравилось, что она писала маркером на стене цитаты — от «Битлз» или, чаще, «Дорз» до Ганди, и вообще все, что понравится.

Мне она тоже разрешила писать на стене, если я лягу с ней в постель. Я переписала «Вот те стихи»^[7] Филипа Ларкина, но она сказала, что текст слишком длинный и займет чересчур много места на стене. Я думала, что если я ее девушка, то мне вроде как можно занимать ее стенку. Так что я написала самый короткий стих из Библии — «Прослезися Иисус»^[8]. «Ну все, достаточно», — сказала она. Ей было уже неинтересно. Как всегда.

Ей нравилось, когда я являлась к ней прямо в школьной форме, выпрыгивая из не того автобуса, и она раздевала меня. Однажды она сперва меня раздела, а потом взяла и остригла мне волосы. И побрила мне голову — так, что она стала гладкой, как яйцо.

— Вот теперь ты совсем голая, — сказала она. — Посмотрим, как твой либеральный папочка оценит новый лук!

Это было смело. Такая продуманная провокация. Но Эдвард лишь рассмеялся и сказал: «Котик, волосы отрастают». После того, как в семьях происходит нечто очень плохое, тебя не должны волновать такие мелочи, как длина волос дочери.

Зато вот в школе отсутствие у меня волос всех очень взволновало. Наконец я дала им повод меня выгнать. Искусство прогулов я уже освоила в совершенстве. Валяние голышом с Эмили в съемной постели и роспись стен в съемной квартире не особо хорошо влияли на мою посещаемость. А теперь еще и лысина. В школе не было как такового правила, касающегося бритья головы, но его тут же изобрели. Специально для меня. Мне было велено ходить с покрытой головой, пока волосы не отрастут «до приемлемой длины». Эдвард даже спросил, сколько миллиметров считаются приемлемой длиной и даже предложил установить для девочек такой же допустимый минимум, что и для мальчиков, если уж этот минимум вообще нужно устанавливать. Но этих, из школы, уже было не остановить.

Приняв вызов покрывать голову, я решила взять у Эмили один из самых выдающихся экземпляров ее коллекции — винтажную американскую бархатную шляпку-таблетку с вуалеткой. В итоге меня отправили домой — что есть шляпа, что ее нет. К тому же, я явилась в школу в двенадцатом часу, поскольку все утро ходила голышом и накуривалась, выпрашивая шляпку.

Началась вторая серия моего домашнего обучения. Если бы я еще появлялась дома. И хоть чему-то обучалась. Эдвард обивал пороги школы, пытаясь выпросить для меня допуск к экзаменам, но поскольку я вообще ничего не сделала, то меня не допустили. Сказали, что мое присутствие смутит остальных экзаменующихся. Это после того, как я этих остальных к этому моменту смущала примерно четыре года. Смущать остальных — моя суперсила.

Поскольку экзамены мне не светили, то не было смысла и сидеть дома с репетитором по математике, которого мне нанял Эдвард. Как

и приходиться домой вечером, чтобы к утру быть во всеоружии. Так что большую часть времени я притворялась студенткой колледжа, таская прошлогодний бейджик Эмили на территории кампуса. Оказалось, что в библиотеке можно отлично спрятаться, отгородившись от окружающих стеной из самых здоровенных книг.

Самыми классными были книги по искусствоведению: большие, тяжелые, и еще можно было часами рассматривать иллюстрации, не особо заморачиваясь с чтением. К тому же в библиотечном отделе искусств моя бритая голова и странные одеяния вообще никого не смущали. Вокруг хватало таких же бритых голов и шмоток ручной вязки. Когда я в итоге поступила в колледж на искусствоведение, библиотекари уже меня знали. Оказалось, что я каким-то образом усвоила довольно много информации из книг, которыми отгораживалась от мира.

Я наблюдала за студентами, которые покупали в столовой сырные чипсы или полноценные обеды, и чувствовала свое превосходство. Я-то, проголодавшись, просто воровала сладости в супермаркетах, и потому, приходя домой, говорила, что уже поела. У Эмили в квартире еда хранилась в холодильнике. Там полно было странных продуктов, которые я прежде не пробовала. Оливки, фета в маленьких ванночках. Ассорти орехов. Я не спрашивала, где она их берет. Я ела все, что было не похоже на еду. И втайне решила для себя никогда не пользоваться ножом и вилкой.

По вечерам в пекарне распродавали за бесценок пирожки. Я иногда ела их прямо из пакета, не рассматривая. Если не смотреть на еду, то она не считается. Дома я ела яблоки, нарезаю их на тонкие пластинки и незаметно отправляю в рот. Если съесть их вдоволь, то меня рвало — значит, эта еда тоже не считалась. Эмили всегда спрашивала, накормил ли меня Эдвард, и была мной довольна, если ответ был отрицательным.

Поначалу ей нравилось, что я все время торчала у нее. Не нужно было ждать, пока я приеду из школы и сниму форму. Я могла весь день шататься по ее квартире голышом, включив обогреватель, курить ее сигареты и поедать ее оливки. Потом ей надоело. Она стала спрашивать: «Когда отец заберет тебя домой? Ему вообще интересно, куда ты пропала? Он знает, где ты?»

Она начала часто спрашивать об Эдварде. И о моей маме. Она хотела, чтобы я ушла, но не хотела, чтобы я возвращалась к нему. Я понимаю: в каком-то смысле он казался ей врагом, и пусть я даже была не нужна ей для личного пользования, отдавать меня ему она все равно не желала.

Я видела, что Эдвард не в восторге от наших с ней отношений, но не понимала причины. Он задавал странные вопросы о ее матери, о квартире. Эмили считала его гомофобом. Я отвечала, что он не спрашивал, почему я встречаюсь с девушкой. Зато о другом спрашивал. В основном о ее матери. Эмили смеялась. Она говорила: с какой стати его вдруг интересуют мои чувства, после всего, что он сделал. А что он сделал?

Теперь, когда я приезжала к Эмили, в квартире зачастую было пусто. Я заходила, пыталась читать книжки, которыми была подперта дверь, доставала из холодильника банку орехов, слизывала с них соль, а сами орехи выплевывала. Брала оливки, резала на четыре части и ела по четвертинке за раз.

Иногда дверь была заперта изнутри, и у нее кое-кто был. Один мальчик. По моим меркам он выглядел слишком заурядно, чтобы видеть в нем конкурента. Он носил футболки-поло, и все щеки у него были в угревой сыпи. Ужасно высокий. Рядом с ней он казался великаном. Как она это терпит? Он ее или уронит однажды, или случайно раздавит. Как она вообще может заниматься с ним сексом?

Я сидела перед дверью и прислушивалась к звукам. Потом слушала, как они затихают. Ждала, когда он оденется. Слышала, как клацает пряжка его ремня, когда он поднимает брюки с пола, как он, топая, обувается. Потом я стучалась. Она не утруждалась открыть мне дверь. Она посылала мальчика.

Чтобы показать, что мне все равно, я заваривала себе крепкий чай. Мальчик спрашивал: «Почему она такая странная? Что с ней?» И тогда Эмили смотрела на меня с гордостью.

— Ее мать исчезла при загадочных обстоятельствах. Она не любит быть у себя дома.

Загадочные обстоятельства. Такое вот новое обозначение. Получалось, что я — как бы персонаж детективного рассказа. Не отверженная. Не трясущееся странное маленькое существо

с шелушащейся кожей, почти безволосое, со следами от пирсинга вдоль мочек. Я — загадка.

Эмили очень любила рассказывать мальчику всякие странности обо мне, о моей маме, об Эдварде. Ей нравилось его шокировать. Я была ценным экспонатом в ее коллекции необычных вещей.

— Ее мать просто исчезла. Бесследно. А отец превратил старый дом в музей. Все оставил нетронутым. Никого туда не пускает. Никому ничего нельзя трогать.

Я рассказывала ей несколько другое, но все равно не спорила. Мне нравилось быть Девочкой-загадкой, центром Нераскрытого Преступления.

12

Готика



*Один пройдоха
Дорогу знал плохо,
Потому что с Луны свалился.
Он на Юг шел голодный,
И перловкой холодной
Обжечься он ухитрился.*

Все, что Эмили теперь во мне нравилось, — это таинственные происшествия в моей жизни. Она хотела слушать только те рассказы, в которых Эдвард представал страшным готическим злодеем.

Единственным способ заставить ее избавиться от мальчика были обещания рассказать о брошенном доме. О привидениях под лестницей. Об ангелах на окнах. Об утопленницах, о которых мне рассказывала мама. О той, что лежала мертвой в темном пруду, отчего вода там в одну ночь зацвела и помутнела, и никто и никогда не смог снова ее очистить. И еще одну историю, о шляпе.

В этой истории одна девушка, собираясь утопиться, оставила свою шляпу прищипленной к обрыву у пруда. Она забеременела, но когда сказала об этом своему возлюбленному, он ответил, что еще одна девушка в деревне ждет от него ребенка и что он уже пообещал на ней жениться. Шляпу видел один из проходящих мимо работяг, но он ничего никому не сказал до самого вечера, а когда другие мужчины пошли посмотреть, что же там за шляпа, девушка была уже мертва, как и ее дитя.

Поскольку Эмили жаждала весьма конкретных историй, я рассказывала ей, какие странные звуки издавал дом, когда шел дождь и вода, пузырясь, стекала по улице, выплескиваясь из канав. Я рассказывала о барсуках, роющих норы в саду, об их похрюкивании и порыкивании, похожем на медвежье, об их песчаных следах, оставленных там, где они вычищали свои норы. Я рассказывала о летучих мышах, которые жили в старом сарае и кружили по двору возле задней двери.

Она все спрашивала: почему вы оттуда уехали? Там водились привидения? Я отвечала, что моя мама была в этом убеждена. И что именно это ей и нравилось. А я видела привидений? Мне неохота было разочаровывать Эмили. Так что я отворачивалась и придумывала новые невероятные истории.

Пока я лежала на животе, сочиняя призраков, демонов и злых духов из погреба (которого у нас и в помине не было), Эмили гладила кончиками пальцев мои лопатки и целовала поясницу. Она где-то прочла, что нервных окончаний на спине так мало, что я не смогу разобрать — одним, двумя или тремя пальцами она меня гладит. Но мне было все равно, сколько ее пальцев касались моей спины. Лишь бы только это не прекращалось.

Больше всего ей нравилась придуманная мною история о призраке маленького мальчика, который появлялся внизу лестницы. Его образ был настолько четким и ясным, что все, кто находился в доме,

спрашивали: а что это за мальчик в ночной сорочке стоит на ступеньке? Я убедительно настаивала, что после наступления темноты ни одна живая душа не рисковала ходить по первому этажу.

Я говорила, что призракам не нравились некоторые картины, и стоило повесить неподходящую, как среди ночи являлись привидения и сбрасывали ее со стены. Слышался треск разбивающейся об пол рамы, и становилось ясно, что призракам картина пришлась не по душе.

Еще я рассказывала, что возле двери в погреб кусок пола всегда оставался абсолютно холодным, как бы тепло в доме ни было. Кажется, эти истории рассказывала Линдси, и почти наверняка они были о деревенском пабе. Но едва я сама начала их пересказывать, как они намертво связались в моем сознании с нашим старым домом. Спустя какое-то время я уже даже не могла вспомнить, откуда они взялись. Я даже не помнила, считали ли мои родители, что в нашем доме живут привидения.

Эмили хотела знать буквально все о нашем старом доме и пропаже моей мамы. В какой именно день она исчезла? Что мы оставили в старом доме, а что взяли с собой?

Решения о том, что брать с собой, а что нет, принимались хаотично. Мы упаковывали в коробки игрушки и кухонную утварь, а потом забывали их. Мы складывали в пакеты постельное белье и полотенца, а потом убирали их не в тот шкаф или забывали на заднем крыльце, где они покрывались плесенью. У дверей обоих домов скопилось по куче резиновых сапог и галош без пары — никто не мог найти двух одинаковых, когда они были нужны.

Поначалу мы думали оставить в старом доме мебель, чтобы показать его покупателям в более презентабельном виде, но в итоге все эти вещи пришли в негодность, обветшали, их нужно было выносить, но даже с этой задачей мы толком не справились. Нужные для работы книги Эдвард забрал, а остальные оставил — толстые романы, книги по садоводству, раскраски, которые Джо размалевал или порвал, старые атласы, остатки подшивок «Нэшнл Джеографик» деда Мэтью, сложенные стопками под подоконниками.

Эдвард позвонил в клининговую контору, и там ему назвали цену в двести фунтов. Эдвард решил, что именно за столько они готовы выкупить все книжное барахло разом, а оказалось, что это он им

должен заплатить за вывоз. Он сказал: спасибо, я лучше сам. Однако по выходным постоянно возникала уйма других дел: стирка, магазины, спортивные занятия Джо, уроки, проверка эссе, игры, уборка.

Если мы отправлялись в старый дом — с запасом еды, растопки, полные решимости — то к полудню неизменно выматывались, застряв между кипами детских вещей, проросшими тюльпановыми луковицами и мышинными гнездами в старых одеялах. Мы привозили полупустые коробки с несортированными вещами и сваливали их на крыльце, а потом нам надоедало бесконечно об них спотыкаться, и мы попросту уносили их в мусорный бак, даже не заглядывая внутрь.

Эмили спрашивала: если в доме полно вещей, что там может быть спрятано? Почему я так уверена, что мы обыскали там каждую щель? Почему Эдвард столько всего оставил, почему какие-то вещи ему больше не нужны? Когда я сказала, что мне нельзя ездить туда одной после моего последнего побега из школы, она прямо наострила уши. Как это я не имею права там появляться? Разве это и не мой дом тоже? Что он от меня скрывает? Почему я не попыталась туда попасть? Разве это не подозрительно? По-моему, нет.

А раз я теперь даже в школу не хожу, почему бы нам не вернуться обратно? Вот это было сложно объяснить. Дело в том, что официально дом был еще выставлен на продажу, но в нем разваливалось то одно, то другое, и на ремонт никогда не хватало денег, еще и надо было платить за новый дом. Например, сарай стоял на торгах, менять в нем ничего было нельзя, но несущие конструкции были сами по себе небезопасны.

Наверное, если бы нашелся покупатель, мы могли бы продать сарай, чтобы его потом переделали в жилой дом. Но тогда пришлось бы продавать еще часть земли с подъездной дорогой к нему. Бывало, находились желающие снять дом, но потом они обнаруживали, что не работает отопление, что задняя дверь толком не закрывается, и если бы мы взяли в долг деньги на ремонт, то дом в любом случае пришлось бы в итоге продавать. Так что он стоял пустым. И ни о чем из этого я не могла рассказать Эмили. Поэтому просто плела байки о скрипах на лестнице и душераздирающих воплях ведьм в саду.

Эмили щурилась и поправляла на носу очки — это означало, что у нее есть важная мысль. Она сказала: «Думаю, у него есть какие-то свои причины. Причины не отдавать дом». Она сказала, что у нее есть знакомый медиум. Что он может говорить с умершими. Что он зарабатывает чтением ауры. То есть он смотрит в воздух вокруг тебя и распознает цвета и духов твоих снов и твоего прошлого. Она выразила уверенность, что если привести этого медиума в старый дом, то наверняка он сможет разгадать секрет. Я ответила: «Эдвард вряд ли разрешит». В ее глазах вспыхнула ярость.

— А ничего, что тебя эта тайна касается не меньше, чем его? У тебя разве нет права узнать правду?

Ответить мне было нечего.

Именно тогда Эмили начала собирать все нужное для путешествия: карты, полбутылки виски, которую она украла из чьего-то кармана в раздевалке ночного клуба, папиросную бумагу, травку, кредитку, зажигалку, свечу и раскрашенную игральную карту с каким-то заклинанием, написанным красным фломастером на обороте — ее ей дал тот самый специалист по чтению ауры. Я не стала ее отговаривать. Я подумала, что если мы отправимся в такое путешествие, то ее мальчик уж точно за нами не последует. Мы сто лет ничего не делали вдвоем, без него.

Зря я ее не предупредила, что почти никакой общественный транспорт в нашу деревню не ходит. Когда поезд прибыл в Уитчерч, оказалось, что последний автобус до деревни уже ушел, а значит, надо садиться на проходящий и просить водителя остановиться на стоянке у начала дороги. Это означало полтора с лишним километра до центра деревни, причем в полной темноте. Примерно на полпути пропал сигнал сотовой связи. В целом это было неважно, поскольку телефонами мы пользовались вместо фонариков, и в итоге у нас просто сели батареи.

Когда у Эмили погас телефон, она стала метаться по всей дороге, хватаясь за меня, или замирать, восклицая: вернись, куда ты подевалась? Я все время была с ней рядом и не понимала проблемы. Пока идешь вдоль шоссе — ногой чувствуешь, где край дороги. В тех местах, где забор вдоль дороги низкий, лунного света вполне хватает, чтобы видеть слабое его отражение от поверхности. Даже в полной темноте изгиб поверхности ощущается вполне внятно, так что можно

уверенно идти посреди дороги. До того, как я прошла по Дакингтон-лейн вместе с Эмили, мне даже в голову не приходило, что навык спокойной ходьбы по неосвещенной местности жизненно важен. Я относилась к нему как к данности.

Впервые за все время наших отношений у меня было явное преимущество. Сейчас мы находились на моей территории, я знала все страшные истории о ней, а также знала, какие из них я придумала сама, — а еще я умела внезапно так останавливаться и замирать посреди пути, чтобы она даже не догадывалась, где я.

Большую часть дороги мне было ее жаль, так что я держала ее за руку, говорила с ней спокойным и мягким тоном. Но у старого карьера я поддалась соблазну и сказала, что именно тут утопилась девушка. Та, которая оставила шляпу. Если честно, я понятия не имела, где именно это случилось. Эмили прижалась ко мне, вцепившись в руку и царапая меня своими маленькими пальчиками через распускающиеся петли свитера.

У нас всего один фонарь на всю деревню — у старой телефонной будки, но и тот не работает. Правда, всю сияло освещение паба, так что вид светящихся окон настолько воодушевил Эмили, что она чуть не пустилась бегом. Но едва мы толкнули тяжелую дверь и сделали первый шаг внутрь, я осознала нашу ошибку.

Эмили не понимала, что есть определенные правила — кто и где находится в баре, где сидят мужчины, куда идут женщины. Она вышла прямо на мужскую половину бара и спросила, не одолжит ли ей кто-нибудь зарядное устройство. Я видела, как мужчины отодвинулись от нее, оглядели ее грязные ноги в пятнистых вельветовых туфлях и молча отвернулись.

Кажется, Эмили не поняла, что происходит. Она словно опять шла в потемках по неосвещенной улице. Она повторила вопрос погромче, помахав в воздухе рукой с разряженным телефоном. Несколько мужчин отшатнулись, кивнули друг другу и сгрудились возле мишени для дартса, оставив Эмили в одиночестве у бара.

Она взобралась на пустой стул возле барной стойки, чтобы опять обратиться за помощью. Девушка за стойкой была мне знакома еще со времен начальной школы — она была одной из трех сестер-спортсменок, только я не уверена, которой именно. Кажется, передо мной стояла средняя сестра, Стефани. Они все как одна были

высокими длинноволосыми блондинками. Она перевела взгляд с меня на Эмили и потом снова на меня, а потом едва заметно кивнула, давая понять, что тоже меня помнит.

Я стояла с правильной стороны барной стойки, с женской стороны, и кивала Эмили, чтобы она подошла ко мне. Она уставилась на меня и громко заявила: «Иди сюда, что ты как дура, тут полно свободных мест». Я не знала, как объяснить, что те места свободны потому, что мужчины, которые занимали их прежде, не желают сидеть рядом с ней и просто ждут, когда кто-то велит ей уйти. Она все махала телефоном, громко зывала о помощи, так что я подошла к ней и попросила перейти со мной в другую часть бара.

— Что такое? Почему тут нельзя сидеть? Тут что, как в фильме «Американский оборотень в Лондоне»? Где герои заходят в бар «Мертвый баран»? Или как там? А нет — «Убитый баран»?

Вероятно-Стефани стояла рядом с нами.

— Он назывался «Убитая овца», — сказала она и уперлась руками в бока. Потом протянула руку за телефоном и воткнула его в розетку за стойкой.

Эмили сообщила:

— Мне двойную водку и апельсиновый сок. И две пачки соленых орешков.

Вероятно-Стефани положила на стойку орехи.

— Фунт шестьдесят. Ее я знаю, ей едва ли шестнадцать. Ты выглядишь не старше.

Эмили сузила глазки и была уже готова устроить свой обычный скандал по поводу того, что ей, вообще-то, уже почти ДЕВЯТНАДЦАТЬ, а если кто не в курсе, то дискриминация по росту — это НЕ ШУТОЧКИ, но потом передумала и просто заплатила за орешки. Со стула ей пришлось буквально спрыгивать из-за своего роста, после чего Вероятно-Стефани снова посмотрела на меня и кивнула. Не то чтобы нас огорчало отсутствие водки — у нас с собой были остатки виски в рюкзаке, мы потихоньку его прихлебывали, прикрываясь свитерами, и думали, что делаем это незаметно. Однако Вероятно-Стефани позвала менеджера из другого бара взглянуть на нас, так что, выходит, не так уж все было незаметно.

В деревне ты для всех чья-то дочь. Ты никогда не сама по себе. И это непросто, если твоя мать известна своим побегом из дома, а ты

сама живешь в разваливающемся доме. Я видела, как на меня поглядывают, перешептываясь, игроки в дартс: да, это вроде она, ну, из той семьи за Мысом, с нехорошей историей. Мысом называли последний поворот дороги перед нашими воротами.

Я аккуратно разделила каждый орешек пополам, обсосала с него всю соль, сам арахис выплюнула и положила на стойку в ряд с другими такими же. Эмили ничего не знала о деревнях. Через пару минут о моем появлении будут знать все — как и о бритой голове, и о моей странной спутнице с разноцветными волосами и грудой пирсинга. А исходящий от нас запах травки и так уже всю обсуждали.

Наверное, о нас уже говорили, что мы всегда были странными, — ну, эти, ну вы поняли, за которыми еще дочки Ричардсов присматривали после того, как — ну вы в курсе. Мелкому сейчас сколько — семь примерно? Они переехали. Оно и понятно. После всего, что произошло. Похоже, девчонка по кривой дорожке пошла. А волосы-то, волосы.

От паба до дома идти было еще метров семьсот, и все в потемках. Дорога делает повороты под прямым углом вдоль поля, а перед дорогой к дому вдоль обочины стоит здоровенный амбар. Он полностью загораживает свет. Всегда его любила. По другую сторону стены живут уютные звуки и запахи домашнего скота. Аромат сырого сена, силоса и коровьего дыхания означает, что до конца дороги всего один участок поля. Дорога здесь обычно грязная, скользкая, но меня это никогда не напрягало.

Мы почти пришли, и я с воодушевлением представляла, как покажу Эмили наш дом. Утром мы увидим садовую ограду, фруктовые деревья, мощный дворик. Даже в темноте ей должны понравиться нежные звуки и шорохи, красивые окна с деревянными ставнями и запах старой древесины с примесью чего-то вроде корицы — запах дома. Я разожгу огонь. Романтика. Она, конечно, не признавалась, но ведь она любила меня? А значит, не могла не полюбить и мой дом?

Она так вцепилась в мою руку, что ее пальцы буквально вонзились мне в локоть. Она прекратила орать по каждому поводу и вместо этого начала безостановочно ныть. Ее дорогие вельветовые туфельки поехали по зеленоватой жиже, и она завопила:

— Что это за вонища?

— Это коровы, дурочка. Как, по-твоему, пахнут коровы?

— Фу, какая гадость! Я во что-то наступила!

Я отодвинулась от нее. Мне было обидно за коров. И за дорогу. И за мой дом. Но бросить ее одну в темноте я тоже не могла. Пришлось протянуть ей руку и провести ее мимо ворот фермы до самого поворота к нашему дому.

— Все, мы пришли. Можно уже не орать.

— Куда? Куда пришли? Не видно ничего! И у меня эта дрянь на туфлях!

— Ну, в это время года тут всегда скользко. Когда коровы внутри.

— Да плевать! Отвези меня домой немедленно! Я больше ни секунды не выдержу ни эту вонь, ни это говно, ни это... это же ГОВНО!

— Мы почти на месте. Все равно до утра никакие автобусы не ходят. Все нормально.

— Я не пойду в твой тупой дом с привидениями.

— Да нет там привидений. Там просто холодно.

Эмили уже плакала.

— Но ты же... ты же говорила...

Я взяла ее за плечи и повела вдоль забора по нашей дороге. Она неширокая, с высокими изгородями и глубокими канавами вдоль обочин, и даже в лунную ночь некоторые ее участки остаются неосвещенными. Никто давно не наводил тут порядок, кое-где ограда завалилась под собственным весом, почти перегородив дорогу, а местами кусты так разрослись, что их длинные ветки цепляли наши лица и волосы, но в темноте их не было видно, пока не наткнешься.

Земля тут совсем расползлась, превратилась в грязь. Гравий смыло, трава проросла прямо посреди дорожки. Я не знаю — то ли дело было в самой дороге, то ли в отблесках света в грязи, то ли плотность самой поверхности напомнила мне, какое сейчас время года. Кажется, все-таки это лунный свет, струившийся через дыры в заборе. Или холод. Или зимний запах дороги, особенный аромат холодной грязи. Но что-то остановило меня, превратив пустой желудок в кусок льда. Я отшатнулась.

— Эмили! Какой сегодня день? — Она не шелохнулась. — Какой сегодня день? Я помню, что февраль, но какое число?

Она убрала от меня свои костлявые руки и обхватила ими свое тщедушное тельце. И тут я в один миг поняла всю глубину ее ненависти, всю ее опасность. Как я могла ее настолько недооценивать? Она притащила меня сюда в годовщину, зная, что Эдвард непременно будет меня искать. Я уже потеряла счет дням с тех пор, как перестала посещать школу. Я вообще перестала следить за временем. В отличие от Эмили.

13

Разговор с мертвыми

13



Разговор с мертвыми



*Где твоя сестренка?
Злодей увел ребенка.*

*Где же твой братишка?
Нарисован в книжке.*

*Где младенец твой?
Под хлебною горой.*

Я испугалась. Испугалась при мысли о том, насколько расстроится Эдвард. Испугалась нашей затеи. Я подумала было вернуться в паб и позвонить домой, но пока я туда доберусь, он закроется. И что делать с Эмили? Одну ее посреди дороги не бросишь. Телефон ее снова разрядился. Дом был ближе всего. У меня промокли и замерзли ноги, так что я продолжила шагать, вцепившись в Эмили, чтобы она не визжала или не свалилась в канаву. Я толкнула ворота, протащила ее по скользким бульжникам, плечом открыла разбухшую от дождей заднюю дверь и вдохнула запах дома — корица, хлеб, шерсть, чистый песок.

Щелкнула выключателем. Ничего не произошло. Ну разумеется. С чего бы Эдварду платить за электричество в доме, где никого нет. Но это означало, что Эмили не сможет зарядить телефон. А значит, мы не сможем позвонить домой и выбраться отсюда до утра. Я зажгла свечу, которую мы привезли, и полезла под раковину искать банку из-под джема и корзину с подсвечниками и всякими соусниками, которая там обычно стояла. Свечку Эмили я воткнула в банку, предварительно накапав на дно расплавленным воском.

— Как ты до этого додумалась? — удивилась она. Я пожала плечами. Разве до такого надо как-то особо додумываться? А они-то что делают, когда пропадает электричество?

Теперь, при свете свечи, я повела ее в гостиную, но она продолжала канючить, хвататься за меня и подпрыгивать, едва коснувшись чего-нибудь ногой и вопя: «Это мышь?!» или «А где дверь в подвал?», а еще «Почему тут так холодно?» Ну, хотя бы на это я могла ответить.

— Потому что отопление выключено. Разожжем камин.

— Как? Как ты собралась его разжечь?

— А как можно не уметь разводить огонь?

Она уставилась на меня огромными глазами из-за очков, в которых дешевым спецэффектом мерцало пламя свечи. Мне не было ее жаль. Это она меня сюда заманила. Понятия не имею, за что она пыталась наказать Эдварда, но теперь я ясно видела: наши отношения с самого начала были игрой, хитроумной ловушкой. Я была не нужна ей сама по себе. Я нужна была ей, чтобы издеваться над моим отцом. Смысла я не понимала, но раз уж она меня сюда притащила,

я не намеревалась сделать ее ночь в доме с привидениями хоть немножечко проще.

Я поставила свечу на каминную полку и стала искать что-нибудь для растопки. Если разжечь нормальный огонь, то в комнате будет еще и светло. Поскольку ставни были закрыты, то в доме было еще темнее, чем снаружи. Я нашла всего несколько тощих хворостинок, но растрепанная плетеная корзина, в которой они хранились, сама вполне годилась для растопки — оставалось только найти бумагу посуше для розжига. На полках возле камина нашлись раскраски, такие размалеванные, что мы не стали их забирать, остатки пазла в порванной картонной коробке и деревянные кубики с бумажными картинками. Я вырвала несколько страниц из «Приключений медвежонка» и скрутила их в жгуты.

Эмили топталась рядом, нарезая вокруг меня круги и дрожа. Я сунула ей в руки несколько страниц, велев скрутить, но она просто сунула их в камин. Я скрутила их сама и подожгла корзину, чтобы в этом свете поискать еще что-нибудь горючее. Нашлось несколько треснувших деревянных ложек, старые кисточки, поднос и стопка деревянных рамок.

Огонь разгорелся, и Эмили рискнула отойти, чтобы соорудить себе что-то, на чем можно сидеть. Она добыла несколько тяжелых мебельных чехлов, омерзительное вязаное одеяло, которые мы доставали, когда к нам кто-то приходил с собакой, и сделала из этого что-то вроде гнезда у камина.

Я оставила ее и пошла наверх поискать еще что-нибудь для утепления. Все казалось сырым, но по большей части было просто холодным. Мне попался спальный мешок и несколько одеял. Должно хватить. Эмили все сложила кучей вокруг себя. Она казалось такой маленькой и юной в этом ворохе, с прижатыми чуть ли не к ушам коленями; она таращилась в темные углы, будто ждала, что оттуда на нее что-то вот-вот выскочит. Снова поднимаясь по лестнице, я не удержалась и спросила: «Надеюсь, ты не боишься мышей?» Я даже немного задержалась на ступеньках, чтобы насладиться моментом. Нечасто мне удавалось побыть хозяйкой положения.

Когда я спустилась, Эмили уже разложила свои игральные карты в круг перед камином, примерно обозначив, где самое теплое место. Она аккуратно поставила банку со свечкой в центр круга и начала

зачитывать вслух то, что было написано на карте от медиума. Не знаю, чего она ожидала. Чего-то эффектного. У меня заурчало в животе. Эмили взглянула на меня с отвращением.

— Может, поищешь еще одну банку или стакан? Нужно положить пальцы на край стакана.

— Нужно еще и твой сраный вискарь куда-то налить, между прочим. — Я потопала в кухню со свечкой снова рыться под раковиной. Там нашлась детская бутылочка с Паровозиком Томасом и банка из-под арахисовой пасты сдохлым пауком на дне. Я разлила остатки виски, стараясь держаться подальше от свечи, чтобы Эмили не видела дохлого паука в своем стакане. Когда мой Паровозик Томас опустел, я демонстративно перевернула бутылочку вверх дном и поставила в центр круга. Я ни на что не рассчитывала. В отличие от Эмили, которая по-дурацки сама себя накручивала каждый раз, когда в заднюю дверь билась ветка. А веток там было порядочно.

Эмили свернула косяк прямо на полу, но первый получился совсем сырым и тощим, так что второй она сворачивала уже на своем рюкзаке. Я протянула руку, но она смотрела мимо меня, старательно затягиваясь и в каком-то агрессивном ритме выдыхая дым. Я сняла мокрые носки и повесила их сушиться на одну из сломанных рамок над камином. Я с удовольствием растягивала их и выжимала, я так наслаждалась ее страхом и тем, как она в ответ все старательнее кутала свои ноги в одеяло.

Она докурила косяк, прислонила кусок карты с надписями к рюкзаку, чтобы лучше видеть текст, положила пальцы на бутылочку с Паровозиком Томасом и закрыла глаза. Я не знаю, что там было написано, была ли эта надпись на каком-то существующем языке или просто полная абракадабра для продажи доверчивым дурочкам вроде Эмили, но временами мне слышалось мое имя. Может, это была какая-то вариация мантры «Ом». В любом случае мне это все не нравилось.

Я схватила ее банку из-под арахиса — плевать на паука, — чтобы допить ее виски в отместку за выкуренный в одиночку косяк. Клянусь, я не сжимала банку, не пыталась ее раздавить, но она вдруг лопнула у меня в руке, брызнув осколками за пределы освещенной части комнаты, в темноту, и я почувствовала влагу на ладони и боль и подумала, что это кровь, а потом наверху раздался грохот.

Кому бы я об этом ни рассказывала, все говорят — ну, наверное, ты со злости раздавила банку, или ты услышала грохот сверху и сжала ее от неожиданности, а может, она уже была с трещиной, просто в темноте не заметила. Я могу рассказать только то, что помню. А помню я заклинание, разлетающиеся осколки банки, кровь и виски на своей руке, потом звук удара, потом вопль Эмили.

И еще почему-то погасла свеча. Наверное, я сбила пламя, когда вскочила. Я побежала на шум вверх по лестнице, потом рванулась обратно, чтобы зажечь свечу, и почувствовала, что ноги у меня такие же мокрые, как и рука. Еще кровь. Что бы ни шумело там, наверху, оно никуда не делось и металось, врезаясь в предметы. У меня даже мысли не мелькнуло, что это может быть привидение. Слишком оно было живым, тяжелым и беспокойным. Но оно находилось в моем доме, и я должна была разобраться.

В лестничном пролете носилась большая черная птица. Кажется, ворон. Он волочил одно крыло, пытался взлететь и неуклюже падал, то бросаясь на лестничное окно, то отлетая к краю лестницы. А грохотала дверь спальни в конце коридора: она распахнулась, и ее туда-сюда трепал холодный сквозняк.

Птица, похоже, была в спальне. Вероятно, когда мы заходили в дом, сквозняк распахнул дверь, и так птица оказалась на лестнице, а хлопающие двери ее пугали, и она никак не могла выбраться. Может, она несколько дней сидела голодная в этой спальне, а мы ее испугали.

Я подбежала к окну и дернула подъемную раму. Я знала, что с этим окном есть какой-то фокус, из-за которого мне на разрешали его самостоятельно открывать и закрывать. Там для чего-то нужна была палка. Искать палку в темноте было некогда, так что я открыла окно так широко, как могла, и отступила. Рама рухнула, вылетев из пазов. Вот оно. Вот для чего нужна была палка — подпирать раму. Там защелка была сломана. Что ж, поздно. Как теперь выгнать птицу?

Дверь в бывшей родительской спальне и так летала туда-обратно, а теперь, когда ветер подул еще и с лестницы, поднялся безумный грохот. Я стала гоняться за птицей вверх-вниз по лестнице, пытаюсь поймать ее и отнести обратно в спальню. Птица была не в восторге от этой идеи — как, если честно, и я сама. Мне никогда не нравилось ходить в ту комнату после пропажи мамы. Никому не нравилось.

Эдвард быстро переселился в спальню Джо, чтобы якобы быть рядом с ним по ночам, но обратно так никто и не перебрался.

В комнате кто-то навел порядок: в ящиках и на полках пусто, мамины книги с тумбочки убраны, постельное белье выстирано и сложено в шкаф, но это сделали не мы. Может, это миссис Уинн. Я не видела. Наверное, тут все прибрали, пока я была в школе. Я помню сам вид комнаты — голая, пустая, шторы задернуты, на месте картин на стене — пятна, матрас накрыт простым покрывалом, но когда я это видела — не помню. Может, даже годы спустя.

А сейчас мне нужно было войти, закрыть за собой дверь, открыть окно и аккуратно, спокойно выгнать птицу, чтобы она на одном крыле перелетела на грушу за окном. Я осознавала, что оставляю за собой кровавые следы на полу и брызгаю кровью и на окна, и на двери, и на стены. Когда несчастная птица полувпрыгнула-полувылетела из окна, я затворила ставни, оказавшись в полной темноте, вынужденная выбираться по влажным пятнам на стенах, по следам крови, перьев, сажи и пыли обратно к двери.

Эмили сидела на лестнице, скрючившись над свечкой в банке и дрожа под лучшим из найденных мной одеял.

— Улетела?

— Ага.

— Ты разбила большое окно, и стало совсем холодно.

— Там защелка. Ее заклинило. Надо было раму подпереть палкой.

А я забыла.

— Что ты несешь? Какая сраная защелка? Ты совсем долбанутая! Что у тебя с ногами?

— Кровь. Осколки от банки.

— А я говорила, что они там.

— Они?

— Он же в этой комнате умер?

Какой еще «он»? О чем она?

— Мой прадед Мэтью? Который подарил папе этот дом? Он умер в доме престарелых.

— Нет, не он. Твой брат. Который умер.

Что она несет? Мой брат жив и здоров, живет в Уэст-Мидлендс.

— Я понимаю, что гибель одного родственника — это уже тяжело. Но двое в одном месте? Ты правда думаешь, что это совпадение?

Я уставилась на нее. В свете свечи ее лицо казалось кривым, восковым, нездоровым.

— Думаешь, это она?

— Что?

— Твоя мама. Я с помощью заклинания призвала твою маму. Попросила сказать, где он ее спрятал. А потом появилась птица. Может, она в спальне?

— Это просто птица. С птицами так бывает. Наверняка она там несколько дней летала, пытаюсь выбраться.

— А может, это был твой брат.

— Вряд ли. Он сейчас лежит в своей постели в Вулверхэмптоне. И когда я видела его последний раз, он выглядел как худенький блондин, а не как чертов крупный ворон.

— Я не про этого брата. Я про умершего. Его я тоже призвала.

— Так перестань нахрен призывать всякую чушь, ладно? Особенно такую, которая ломает окна и срет на пол. Или призови что-нибудь полезное. Там, доставку пиццы или в таком роде. Горячий шоколад. И хватит пороть чушь про мертвого брата. Не смешно. Хотя бы Джо не впутывай.

— Я тебе говорю, я не про Джо. Я про другого.

— У меня нет другого брата.

— Конечно нет, он же умер.

— Да что ты гонишь? — я зашагала вниз по лестнице. Окровавленная ладонь скользила по перилам, в ноги врезались осколки. Боли не было. Меня жгла ярость и негодование, а под ними таился еще более жгучий страх. Я распознала его и наотрез отказалась его принять. Знакомая тактика: осознание и отказ от осознания, перекрывающие друг друга за долю секунды, за один вдох, за удар сердца.

Эмили внизу уже устроилась в своем теплом гнезде у камина, а я ходила вокруг, собирая подошвами босых ног остатки стекла, выискивая, чтобы еще такого нелепого подбросить в огонь. Меня безостановочно трясло. Я схватила продавленный стул и стала что есть силы колотить им о каменную каминную полку. Эмили плотнее закуталась в одеяла и закрыла руками голову.

Когда ножки стула расшатались, я запихнула его в камин, не обращая внимания, что часть стула торчит снаружи. Пару минут огонь пожирал тканевую обивку, потом угас. Я допила остатки виски прямо из бутылки.

— Ладно, — сказала я. — Пока я не окочурилась от холода и голода, быстро объясняй, о чем ты говорила.

И она объяснила. Рассказала то, что скрывали мои родители. Что в тот год, когда они поселились в этом доме, у них родился ребенок, мальчик, в той самой спальне в конце коридора. Он не дышал. Его похоронили на старом кладбище за рекой, им давно никто не пользовался. А потом родилась я. Вот и вся история. Ей мать рассказала. Как Эдвард женился на своей бывшей студентке, увез ее в старый дом в деревне, а потом у них умер ребенок.

Моим первым импульсом было все отрицать. Заорать: «Врешь!»

Я и заорала. Долго орала. Мне на ум не пришло слова лучше, чем «врешь», и я продолжала его выкрикивать даже после того, как мой мир пересобрался вокруг меня в новый и гораздо более жуткий мир.

Я ее возненавидела. За то, что она знала. За то, что именно она мне все рассказала. Потому что даже когда я орала: «Врешь! Ненавижу тебя! Ты врешь!» — я вспоминала, как мама пела мне песенку про зеленую тропку, где трава зелена. И теперь я знала, о ком и для кого она пела. Я знала, что это песня для новорожденного, которого омыли молоком, запеленали в шелка, а потом втайне дали ему имя, которое больше никто никогда не произнесет вслух, записали его золотыми чернилами и похоронили вместе с младенцем у Зеленой часовни, куда мы ходили ставить свечку. Каждую зиму. После Рождества.

Я помню, как пела ту песню у реки.

Вот всё для тебя —
Молоко и шелка,
И золотом имя
Выводит рука.

На этой песне все держалось. Я всю жизнь знала, что если мы с мамой когда-нибудь встретимся и обе к тому времени изменимся до неузнаваемости, то я спою эту песню, чтобы она меня узнала. Это была особая песня для особого дня в Зеленой часовне — песня для упокоения усопших.

В Зеленой часовне. У моста, который зимой уходит под воду. Воду, в которую она ушла. Там нашли след ее ноги. Четкий, потому что она не надела ни резиновых сапог, ни выходных туфель, а то, во что она была обута, вероятно, потерялось по дороге. Остались следы в грязи — отчетливые, отпечатался каждый пальчик — они были, когда полицейские впервые фотографировали те места, а когда приехали повторно, там уже побывали быки, растоптали грязные берега копытами, и ничего не осталось.

А потом оказалось, что самые первые фото были нечеткими, к тому же кто-то сделал ошибку, заноса их в список свидетельств по делу, поскольку предполагалось, что на другой день приедут специальные люди со специальной техникой и сделают нормальные снимки. А следы были уничтожены. Так что нет никаких официальных записей о том, где именно она могла утонуть или какая на ней могла быть обувь.

Но теперь я орала: «Врешь! Ты врешь! Ненавижу!», и Эмили все глубже втягивала голову в одеяла, приподнимая плечи, как крылья, словно защищаясь от меня, и с каждым воплем во мне крепла уверенность, что она права, а я — нет. И еще я понимала, что есть какая-то связанная с Эдвардом причина, по которой ее мать обо всем знала.

И вдруг я почувяла след чего-то знакомого, чего-то, что мешает видеть находящееся прямо под носом: стыда. Я распознала ту стыдную ярость понимания, что абсолютно, безоговорочно неправа. Так что я продолжала до последнего орать и крушить вещи, потому что знала: едва наступит тишина, как я окажусь в мире гораздо ужаснее того, в котором я жила прежде.

Может быть, я бы и до утра прокричала, но нельзя недооценивать деревенских жителей. И их общую память. И разговоры в баре после нашего ухода. И календарную дату. Разговоры передавались из уст в уста, пока не дошли до менеджера бара и тот не позвонил родителям Линдси. Их номер знают здесь все, поскольку они владеют местным

таксопарком, и они знают номер Эдварда, а Эдвард позвонил родителям Эмили, а те вызвали полицию.

Однако у полиции есть дела поважнее, чем кататься по заброшенным домам и проверять, не курят ли нелепо одетые подростки там траву и не делают ли еще каких-то глупостей, зато вот родители Эмили живут ближе к трассе, а еще им не надо будить спящего семилетку и запихивать его досыпать в автокресло, а еще у них полноприводная машина, которая с легкостью одолевает грязную грунтовку, так что они прибыли на добрых сорок минут раньше остальных.

Эмили узнала семейный автомобиль по звуку, пулей вылетела из своего гнезда и выбежала через заднюю дверь, не успел свет фар пробиться из-за последнего поворота; она неслась прочь от проклятого дома, от орущей окровавленной ведьмы и призраков с черными крыльями, прямо в мамочкины объятия. Кто виноват — даже не обсуждалось. Дом мой. Привезла ее сюда я. И все видели, что я пьяна, ору, матерюсь, меня шатает, а еще я во все стороны брызгаю кровью.

Кажется, когда Эмили выбегала из дома, вместе с моими проклятиями ей вслед летели какие-то вещи. Например, я бросила полуобгоревшую ножку стула — та упала, дымясь, на булыжную дорожку, а мамочка Эмили в это время пеленала бедную деточку в заранее приготовленное теплое пальто и заталкивала на заднее сиденье обогреваемого «ренджровера».

Затем она напустилась на меня. Я помню, что перед тем, как начать поносить мой характер и поведение, она расстегнула заколку, потрянула распущенными волосами и снова их заколола. Я попыталась отступить и захлопнуть дверь у нее перед носом, но полотно разбухло от сырости, и дверь открылась обратно. Таким образом вся обращенная ко мне разгромная тирада прерывалась хлопаньем открывающейся и закрывающейся двери, моими криками и — под конец — вялым бормотанием, которое я определила как голос ее мужа, решившего тихонько присоединиться к супруге.

Я ее не слушала. Хотя говорила она довольно много. Прямо как-то нереально много. И по тому, как долго длился этот монолог, я осознала, что я в самом деле ужасный человек. Гораздо хуже, чем они думали. Что само по себе весьма паршиво.

Каким-то образом у меня в руке оказалась пустая бутылка из-под виски, и когда в перечне моих злодеяний образовалась пауза, я швырнула бутылку во двор, где та со звоном разлетелась о камни, но даже это не прервало поток ее ругани. Впечатляюще.

В конце она сказала что-то вроде «объясняться будешь, когда приедет полиция». Тут я расхохоталась. Я уже восемь лет регулярно рассказывала полиции, какое я ничтожество. А когда она наконец замолчала, я выпалила:

— Лучше вы объяснитесь, почему Эдвард рассказал вам про умершего ребенка, о котором вообще никто не знает, даже я и Джо. И почему вам взбрело в голову, что это отличная идея — если ваша тупая дочь расскажет обо всем мне!

Повисла долгая пауза. Фары светили прямо на дорогу, так что лиц ее отца и матери я не видела. И вдруг отец Эмили спросил: «Какого ребенка?» И я поняла, что это оставалось исключительно между Эдвардом и матерью Эмили. И ее муж об этом не знал. А потом их тени отступили в свет фар, и я услышала звук захлопнувшейся двери автомобиля.

Я думала, что они бросят меня здесь одну до утра. Я не знала, что Эдвард тоже едет за мной, пока не увидела, как его машина, подъезжая, перекрывает выезд их автомобилю. Двигатель он глушить не стал, потому что Джо спит в машине только при работающем двигателе. Он протиснулся мимо их машины, цепляясь за заросли, потом обошел осколки бутылки посреди двора. Потом подошел и обнял меня так крепко, что даже приподнял немного — впервые, видимо, осознав, насколько я похудела. Он плакал — и я вместе с ним. И мы наперебой просили друг у друга прощения.

— Прости. Я не помнила, какое сегодня число, пока мы не приехали сюда.

— Ты не виновата. Ты ни в чем не виновата. Это все я.

— Она рассказала мне об умершем ребенке. Уже здесь рассказала.

— О Джонатане? Она рассказала тебе о Джонатане?

— Его так звали?

— Джонатан. Да. Но никто не знает. В смысле, мы никому не...

Но как?

— Ты никогда мне не рассказывал.

— Мама хотела рассказать, когда ты подрастешь. И всегда было не время. Вечно неподходящий момент.

— Но все же знают!

— Нет. Нет. Неправда. Ни за что. Так, погоди, ты что, босиком? Тут какая-то гадость на камнях, — он поднял меня на руки и донес до ворот. Потом пришлось опустить — нести кого-то на руках мимо припаркованной поперек этой дороги машины просто невозможно, особенно если это огромная машина, как у родителей Эмили.

Я протиснулась мимо нее по обочине, по траве, добавляя в свои порезы грязь, оставляя по пути жирные кровавые следы на окнах их авто, и забралась на заднее сиденье, где с открытым ртом спал Джо, и воздух был влажный, отопление работало на полную, и пахло хлебными крошками и апельсиновым соком. Я отвернула угол его одеяла и накрыла им свои босые ноги, свернувшись тугим калачиком на свободном сиденье.

Я слышала их голоса, но не разбирала ни слова. Взрослые споры, хлопки автомобильных дверей. От виски и голода кружилась голова. Я закрыла глаза и вцепилась в край сиденья, словно это могло защитить меня от шума.

А потом приехала полиция. Они припарковались прямо за нами, осветив фарами наше заднее сиденье. Три машины выстроились друг за другом перед нашим домом в ожидании долгого обратного пути задним ходом по грязной дороге, чтобы выехать отсюда.

Полицейские желали убедиться, что со мной все в порядке. Я сказала, мол, да, но они открыли дверь, увидели мои окровавленные руки и ноги, и побежали за аптечкой. Пока они обрабатывали раны, то не могли не заметить, что я вся в порезах, шрамах, что кожа у меня сухая, желтая, шелушится, и что я тощая, как скелет. Они спрашивали меня про наркотики, про порезы, про питание, и велели Эдварду утром отвезти меня к врачу.

Полицейские убедились, что мы обе целы, и тут же уехали задним ходом, а за ними мы, а за нами — семья Эмили. Наши машины месили грязь и гравий, уничтожая заросшие травой обочины. Наша машина дважды глохла, Джо просыпался, я успокаивала его, чтобы он снова заснул, и вот мы выехали на главную дорогу и повернули прочь от дома в последний раз.

И даже если бы я тогда оглянулась, чтобы посмотреть на крыши и дымоходы в лунном свете — боюсь, было слишком рано, чтобы увидеть, что искры от потухшего камина каким-то образом попали в воронье гнездо в дымоходе, а разбитые окна и полуоткрытые двери всю ночь подпитывали огонь воздухом, и тот разгорелся, переполз от трубы к балкам, и весь этаж заполнился медленным, целеустремленным, неумолимым дымом, который высасывал из старого дома жизнь, комнату за комнатой, пока вся конструкция не рухнула под собственным весом.

Мы уезжали и не могли в темноте предвидеть, что падение этого дома будет означать для нас полную финансовую невозможность когда-либо туда вернуться. Мы не знали, что люди, которые купят его с аукциона в том же году, перестроят его до полной неузнаваемости. Я как-то просила съездить туда и попрощаться с домом, но Эдвард отвечал, что зрелище будет для меня слишком грустным. К тому же после вышеописанных событий я довольно долго была не в форме куда-либо ездить или что-либо делать. Наш мир сжался до размеров нового дома, а сама я сжималась под одеялами в своей неправильно пахнущей комнате, предварительно задернув занавески перед неправильным видом из окна, и пыталась заново научиться есть, спать и быть здоровой. Из всего, чему пришлось заново учиться после ухода мамы, это было, наверное, самым сложным.

Из той ночи я запомнила еще кое-что: голод. Перед тем, как в течение нескольких секунд я обрела и потеряла брата, меня непрерывно мучил голод. Я ощутила его, едва мы вошли в дом. Я могу четко назвать момент. Это случилось не в пабе, когда я обсасывала с орешков соль, выплевывая сами орехи в ладонь. И не по пути к дому.

Это случилось в тот миг, как я открыла дверь. Я искала банку для свечки, ветошь для растопки, и пока рыскала по кухонным шкафам, меня терзала надежда найти что-нибудь съестное. Банку тунца, например. Мне хотелось найти банку тунца.

Я смотрела на Эмили, читающую написанные на картонке заклинания над карточным кругом, а мой желудок в это время урчал, бурчал, булькал и требовал пищи. Чем больше я вдыхала аромат дерева и песчаный запах каменного пола, разгоравшихся щепок, деревянных кубиков, с которых огонь слизывал древние бумажные наклейки, тем сильнее мой желудок умолял о еде.

Это был не тот голод, который заставлял меня украсть в супермаркете пакетик конфет. Такой голод не утолить банкой оливок. Я хотела печеной картошки с маслом и сыром. Я хотела жирно намазанный тост. Я хотела жареную курицу с подливкой.

Заново учиться есть — задача сложная. Так не бывает, что в старом доме тебя встречает мертвая мама в обличье ворона, дует тебе в ноздри, чтобы ты вдруг ощутила запах еды и проголодалась, и оп — все работает. Это занимает много времени, и в течение этого времени ты придерживаешься плана питания, ходишь на группы в сырых закоулках Центра ментального здоровья подростков, ненавидишь родителя, который готовит тебе еду и так планирует нерабочее время, чтобы успеть отвезти тебя на все нужные встречи, а ты отказываешься выходить из машины, разговаривать с кем бы то ни было, а однажды даже рвешь на куски план питания и демонстративно съедаешь эти обрывки у всех на глазах.

Но я отчетливо помню первый момент, когда ощутила голод: запах старой кухни заставил меня искать еду. Мне плевать, как врачи это называют. Я называю это тоской по дому.

Я простила Эдварда за то, что он не рассказал мне об умершем брате. В конце концов простила. Он говорил, что они всегда хотели мне рассказать, когда я вырасту. А потом, после нашей утраты, он попросту не знал, как преподнести мне еще одну смерть. Обычно мама решала, когда пора о чем-то сообщить, когда настало время. Без нее он не мог. Были какие-то вещи, которые он предпочитал делегировать ей. Пусть даже она больше не могла принимать решений.

Единственный намек на то, почему мать Эмили знала семейные тайны, я получила от него, когда после колледжа устроилась работать в книжный магазин и слишком уж часто упоминала одного из хозяев: «Марианна, я дам тебе всего один совет касаясь работы: никогда не спи с боссом. Seriously».

Я спросила, можем ли поставить памятник моему умершему брату, чтобы приходиться к нему на Бдения украшать могилку, чтобы его не забыть. Не незаметный камень у Зеленой часовни у реки, где его никто не увидит, а на нормальном церковном кладбище, чтобы собирать там камыш и носить цветы. Я думала, что, если бы мама вернулась, она бы порадовалась тому, как мы чтим память моего усопшего брата.

Я спросила, можно ли выгравировать на камне текст песни про зеленую тропку, но он спросил: «Ты хоть представляешь, сколько стоит одна буква?», так что мы сошлись на крохотном изображении ангела над именем. И даже если она никогда не вернется живой, теперь у нас было место, где ее можно помянуть и где ее можно похоронить — рядом с камнем, на котором написано его имя.

14

У совы отец был хлебник [\[9\]](#)

14



У совы отец
был хлебник



*Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной.*

Парни звали его Эй Джей, а девушкам приходилось называть его полным именем — Артур Джек. Мне хотелось слышать это долгое

звучание. Мне нравилось, как оно тянется у меня во рту, от гортани до полуулыбки. Его черные волосы закрывали половину лица, и он искоса смотрел на всех нас из-под челки.

Почти каждую неделю его татуировка расплзлась от плеча по руке все дальше — драконы, змеи, виноградные лозы, злые духи выглядывали из гуши деревьев. Он был слишком юн, чтобы носить татуировки, но его это не смущало.

Когда мы утром приезжали в коррекционную школу, он первым делом стаскивал через голову свитер, потом закатывал рукав футболки, снимал защитную пленку с очередного нового участка татуировки и мазал ее кремом. Тому, кто сидел рядом, разрешалось поучаствовать.

После того, как он нежно смазывал свою поразительно красивую руку, снова оборачивал ее пленкой и невыносимо медленно одевался, он закатывал рукав сидящей рядом девочки и нежно втирал миндальное масло в белую кожу внутренней стороны ее запястья.

Мы садились рядом с ним по очереди. Это даже не обсуждалось. Мы просто так делали. И он никогда не проявлял особого внимания ни к одной из нас, он никого не предпочитал и ни с кем не пытался общаться. За него не сражались. Он был недоступен в принципе.

Он уже был обещан Джози, та тоже жила в поселке для кочевников, они должны были пожениться, как только им обоим исполнится шестнадцать. Ей в то время было четырнадцать — круглолицей девочке с блеклыми рыжими косичками, незаметными ресницами; она носила расшитые пайетками джинсы и короткий топ, из-под которого торчал ее по-детски круглый животик.

Джози не ходила в школу, но иногда в обед присоединялась к нам в парке или торговом центре. Она показывала мне фотографии нарядов, которые надевала на пышную свадьбу, или предлагала что-нибудь сделать с моими волосами. Она думала, что я ношу такую короткую стрижку после какого-то несчастного случая.

Я спросила, почему она не ходит в школу, и в ответ услышала, что ей ни к чему. К тому же дома так много дел, что ей попросту некогда. И вот тут меня прямо проняло. Странно, насколько я разгневалась. Несколько лет я пропускала школу, высмеивала ее, настаивала на ее бессмысленности — но, встретившись с человеком моего возраста, который просто не ходил в школу и все, я была со всей страстью готова отстаивать важность учебы.

Джози объяснила, что она слышала, будто в средней школе девочки ходят с мальчиками и у них даже случается секс, и, если бы она так поступила, это бы разбило сердце ее отцу. Тут не поспоришь. Я-то примерно этим и занималась. Еще она слышала, что у девочек в школе нет никакой морали. Они даже в Бога не верят!

Чистота была важнее всего. Она говорила, что на каждое Рождество всем ее братьям и сестрам дарили новую одежду — совсем новенькую, никому прежде не принадлежавшую. Всем поровну, все одинаковое, до последнего носка. Чистое. Новое. Девственное.

Артур Джек однажды опоздал, объяснив это тем, что у теткиной собаки снова родились щенята. Прямо на гребаном чистом белье. В этот раз щенков было только трое, один — полуживой заморыш. В общем, пришлось ждать, пока кто-то из девочек не найдет и не выгладит ему чистую футболку. Так что он не по своей вине опоздал, правильно?

Это был мой шанс. Небрежно, будто бы походя, предлагая ему во время обеда сигарету в парке на скамейке, я упомянула, что мой папа хочет собаку. Не я, а папа. Иначе вышло бы слишком лично. Просьба для себя не сработала бы. Он посмотрел мимо меня и выпустил кольцо дыма. Я знала, что лучше не повторять сказанное. Он сделал последнюю затяжку, затушил окурок о скамейку, откинулся назад и вытянул руки вверх:

— А, да, ну ладно, раз вам, придуркам, нужны щенки, я дома скажу, чтоб топили не всех этих мелких уродов. Добро пожаловать, хоть всех забирай.

Я рассмеялась вместе с остальными — не слишком громко и не первой, чтобы не перегнуть. Чтобы неловкое движение не уничтожило магию. Я знала, что если щенки протянут еще примерно недельку, то можно будет перейти ко второму вопросу.

— И что, когда можно прийти выбрать папе щенка?

И тогда я сяду в автобус, потом пойду пешком с Артуром Джеком к нему домой, и приму из его рук крохотное существо, и никогда его не отпущу.

Я была готова ждать, поглядывать на календарь и снова ждать, помалкивая, пока щенкам не исполнится ровно восемь недель, и тогда я возьму одного из них, заверну в старое полотенце и отнесу домой.

И тут уже придется признаваться Эдварду, что у нас теперь есть собака. А вот этого я не продумала.

Я продумала все вплоть до момента, как вхожу в поселок с Артуром Джеком. Когда это случилось на самом деле, меня накрыло какой-то странной легкостью, как бывает, когда план взял и сработал. Я шла за ним по улице от автобусной остановки до ворот поселка, чуть позади, а он шагал, пиная попадавшийся под ноги мусор и выдыхая дым. Я наслаждалась каждой минутой. У меня для таких случаев был особый прием — сильно щипать кожу на запястье, до появления кровоподтека, чтобы осталась метка, чтобы запомнить каждую секунду.

Я прошла за Артуром Джеком через высокие железные двойные ворота в огромный двор, где за мной по пятам сразу же увязалась кучка мелких собачонок. Я рассматривала их, гадая, нет ли среди них мамыши моего щенка. У большинства собак чего-то да не хватало — глаза, уха, ноги, хвоста. Интересно, целы ли все части тела у моего щеночка. До настоящего момента я и этим не интересовалась. Артур Джек показывал фото щенят, сбившихся в один сплошной комок, в котором не разглядеть — черные они, или коричневые, или пятнистые, или рябые — как там правильно говорить про собачий окрас? — а я больше ничего и не спрашивала. Не осмеливалась излишне досаждать вопросами или проявлять избыточный интерес, чтобы вся моя затея не полетела псу под хвост.

По всему периметру двора стояли дома на колесах и автофургоны, такие огромные, что могли бы тащить грузовик или целую фуру; также виднелись деревянные сараи. А в центре стояли машины. Много машин. Какие-то без колес, какие-то без дверей. Попадались и совсем новые, сияющие. Все были припаркованы хаотично, как булыжники на мостовой. Под машинами и вокруг ползали дети. Множество детей. Возможно, мне просто показалось, что множество, — потому что все они замерли и уставились на меня. Двое мальчишек, примерно возраста Джо, прекратили пинать сильно сдувшийся мяч в кирпичную башню, подпирающую один из автомобилей, чтобы получше меня рассмотреть. Автомобиль был незаурядный — бледно-розовый кадиллак с серебристой отделкой. Я догнала Артура Джека.

— Это разве безопасно? — спросила я. — Дети тут играют. Может, сказать им, что так не надо делать?

Он грустно покачал головой и глянул в телефон:

— Специально время засек. Пятьдесят пять секунд от ворот досюда, и ты уже рассуждаешь, как сраная соцработница, — он ткнул пальцем в направлении маленького деревянного домика, а сам пошел в другую сторону, к парням, сидевшим на ящиках возле дома-фургона.

Я постучалась, мне открыла девочка лет двенадцати и уставилась на меня с открытым ртом. Ей что-то прокричали из комнаты, женщина постарше, но она не шелохнулась.

— Я Марианна, мы с Артуром Джеком вместе учимся. Я пришла за щенком.

К двери подошла та женщина, отодвинула девочку в сторону, пригласила меня войти.

На деревянном кухонном стуле сидела согнутая в три погибели старушка. Она громко кричала на еще одну женщину, которая жарила мясо в гигантской сковороде на прикрученной к столу двухконфорочной газовой плитке. По обе стороны от нее две девочки-подростка нарезали морковь, а за ними сидели в детских стульчиках трое малышей, двое из которых — в футбольной форме клуба «Астон Вилла» (я и не знала, что бывает футбольная форма такого крошечного размера), а третий — девчушка — в розовом комбинезончике, с копной золотых кудряшек на макушке, стянутых серебристой резиночкой.

Скрюченная старушка на кухонном стуле безостановочно болтала, причем так быстро и так мелодично, что распознать, что она говорит на моем собственном языке, мне удалось отнюдь не сразу.

Интересно, они вообще меня заметили? Потом я постепенно начала разбирать отдельные слова, и до меня дошло, что она возмущается. Почему Артур Джек их не предупредил, у них же даже нет ничего приличного на ужин, что гостя о них подумает, почему никто не предлагает гостю чаю? Одна из девочек перестала нарезать морковь и повернулась ко мне с улыбкой. Это была Джози. Улыбка была краткой, тайной, и я не стала обращаться к ней по имени, потому что вдруг окажется, что ей не стоило бы водить со мной знакомство. Она ушла ставить чайник. У одного из окон поднялась какая-то суета, еще одна девочка вытащила из-под стола коробку и стала доставать оттуда чашки.

В окне показались мужские руки. Огромные, покрытые коричневыми веснушками руки в татуировках с изображениями Девы

Марии или целыми списками имен. Еще из одной коробки был извлечен мешок сахара, сахар рассыпали по чашкам десертной ложкой, и чашки с чаем быстро исчезли за окном.

Старушка мне улыбнулась. Я стояла со своим чаем посреди комнаты, кивала и улыбалась всем подряд, особенно детям на стульчиках, играя с ними в «ку-ку», выглядывая из-за чашки. В свое время я отказалась от сахара, но тот сладкий чай я пила с огромным удовольствием. Старушка протянула ко мне свои прекрасные длинные коричневые скрюченные руки, и я ответила ей тем же жестом. Она держала мои ладони, и на ее тонких пальцах и запястьях свободно болтались серебряные кольца и браслеты. Она сказала:

— Смотрите, какую славную девочку мальчик нашел для нашего щеночка. Это добрая девочка. Вот какую хорошую девочку он к нам привел. Вот какая милая девочка, как она меня за руки держит, как она улыбается маленьким. Храни ее Господь.

Меня миллион лет не называли ни милой, ни славной, ни хорошей. Наверное, последней это делала мама — целую жизнь, целую вечность, целую вселенную тому назад. Наверное, такие слова говорят только мамы. А может, эти женщины увидели во мне то, о чем все давно позабыли. Может, дело в том, что они были просто матерями и бабушками, а я для них была просто девочка. Проще некуда.

Старушка все держала меня за руки, поглаживая шершавые костяшки. Потом протянула руку к моим клочковатым волосам, тоже погладила. Иногда я понимала, что она говорит, иногда женщина у плиты повторяла для меня сказанное, и я узнала, что старушка — ее бабушка, и что она глуха как пень, и что достаточно просто улыбаться. Это я и делала.

Когда мясо поджарилось, а морковь дотушилась, девочки разложили еду в плоски — штук пятнадцать — а потом открыли дверь в соседнюю комнату, которая оказалась спальней с огромным телевизором на стене, и выкрикнули целый список имен. Из комнаты вывалилась целая орда мальчишек, еще несколько показались в окне и дверях, и каждый получил миску с едой, ложку, хлеб и масло. От мяса я тоже прежде отказывалась, но как же вкусно было макать хлеб в подливку, как приятно масло капало на руки, пока я вместе с остальными подчищала миску.

Малышей расставили вдоль длинного корыта с теплой водой, чтобы умыть им личики и ручки мокрыми тряпочками. Потом их усадили поесть. Вдоль двух стен кухни на полу лежали узкие матрасы с разномастными узорчатыми покрывалами — на них дети и сидели двумя ровными рядами, вытянув перед собой ножки.

Я села к ним и стала задавать вопросы. Сколько тебе лет? Любишь морковку? Смотри: морковные кружочки похожи на монетки. Мы как будто поедатели денег! Любишь рисовать? Хочешь, я тебе что-нибудь нарисую? Могу собачку, могу лошадку, могу котика. Кого хочешь? А какой твой любимый цвет? Тебе нравятся щенята? А который самый смешной? А самый красивый?

Они не отвечали, только хихикали и толкали друг друга локтями, словно Артур Джек привел в дом говорящего попугая или жирафа. И каждый раз, когда я с улыбкой снова пыталась завести беседу, старушка кивала в мою сторону, тоже улыбалась и говорила: «Вот какая славная девочка. Надо найти ей самого лучшего щенка. самого лучшего. Очень хорошая девочка, видите — такая добрая, у нее однажды будет свой прелестный ребеночек, она такая красавица».

У меня почти не было волос, сухая кожа из-за нехватки питания, темный макияж размазался, на мне были драные джинсы и огромных размеров черный свитер, который я обожала, потому что в него можно было забраться целиком, прижав к груди колени. Но я сидела там и всей душой верила: я красивая, добрая, славная, хорошая девочка и у меня будут прекрасные детки, совсем как эти златовласые малыши. Так что я улыбалась, ела и ждала, когда Артур Джек принесет коробку со щенками.

Мать семейства за стол не садилась. Сидеть было попросту негде, да и некогда. Она собрала посуду, велела детям доесть хлеб, подмела с пола крошки, вытряхнула покрывала и снова их расстелила, а потом вернулась к сковороде, время от времени беря себе ложку еды. Потом она выскребла со дна остатки, доела их и стала мыть посуду.

Девочки откуда-то притащили воду для посуды. Я предложила помощь, но они отказались — сказали, что у них отработанная схема; могу сказать, что посуда у них мылась гораздо тщательнее, чем у нас дома. У них была целая система: сперва плоски мылись, потом снова мылись, потом полоскались, потом складывались. Потом в емкости для полоскания отмывались тряпки для стола (их сушили на веревке

за окном). Потом кто-то выходил во двор забрать пустые чашки у мужчин, их тоже отмывали, и дальше все по кругу.

Старушка меня почти не отпускала и помогать не давала. Она держала меня за руку, гладила по волосам, нараспев о чем-то стрекотала. Она говорила, что ее сестра Маргарет тоже так делала после смерти их матери: носила черное, как я, рвала одежду, остригла волосы, просто ужас. Ужас. Резала себя, перестала есть. Такая была добрая девочка. Таким тяжелее всего, а она была еще маленькая. А теперь посмотрите на нее — счастливица, так долго прожила, это все ее правнучки, а одна уже своего первого ждет, и, даст Бог, родится такая же добрая девочка; мужчинам такое слышать нельзя, они все хотят сыновей, но женщине нужна девочка, такая вот девочка, чтобы всегда была рядом. И им тяжелее всего приходится. Я хотела сказать, что мою маму тоже так звали — Маргарет, а мне стали говорить, что старушка не слышит, и когда я попыталась написать или произнести по буквам, оказалось, что она не умеет ни читать, ни писать.

Я не стала объяснять, что с ухода моей матери прошло девять лет, и что я не все это время непрерывно носила черное, брила голову, резала себя или одежду, и что в том году рваную джинсу просто носили все подряд. Ее версию я приняла с благодарностью. Я была в трауре по маме. Я была доброй девочкой, любая мать о такой мечтает, и таким, как я, всегда тяжелее. Она сказала, что будет молиться за меня. Она велела мне есть, и тоже молиться, и верить Господу, и что у меня непременно родится девочка, и я тогда оставлю свои печали, как оставила ее сестра, когда родились дети, храни ее Господь, и она всю жизнь была добрым человеком, и с тех пор, как Господь забрал ее к себе, они все очень скучают.

Из темной спальни вышел еще один мальчик, постарше, и тут же получил от женщин нагоняй за опоздание к ужину. Он свернул самокрутку прямо на кухонном столе и попросил чашку чая, хлеб и сахар, раз это все, что осталось.

В дверях показался взрослый мужчина. Сказал, что пришел со мной поговорить.

— Это... — сказал он. — Артур Джек говорил, что ты ловко читаешь и все такое. Умеешь вот это вот все.

Я не отрицала. Он стоял в дверях, стараясь выдохнуть дым в сторону улицы, подальше от детей. Его крупное тело комфортно

занимало весь дверной проем, огромная рука опиралась о притолоку.

— Видишь как, кто читает газеты, те всё знают. Меня тут беспокоит кой-чего, но мне не разобраться. Без чтения — никак. Есть один мужик, он все скупает — самолеты, поезда, все такое — мистер Брэнсон. И я тут слышал, что он купил землю, где раньше был аэродром, но не нынешний, а старый, а там землю ни за какие деньги не купишь. Я знаю, я ж пробовал. И он вроде как строит новый аэродром, в таком месте, где не будет слышно шума. И так получается, что, если кто купит себе тут немного земли, там, или леса — ну, чего-то никому не нужного, чтоб маленько заработать, — и тут придет этот мужик и решит все скупить.

Я сказала, что не читала об этом.

— Да не в этом дело, — ответил он. — Но вообще любопытно. Интересно, что он делает, чтобы в газетах ни слова.

Я пообещала узнать у отца. Сказала, что он знает гораздо больше, чем я. Кажется, мужчина немного успокоился. Потом сказал:

— Артур Джек — малой моей сестры. Он теперь в школу ходит, умеет вот это вот чтение, будет читать контракты, понимать, там. Ну вот как с этим домом. Мы если бы читали те бумаги. Окна не такие поставили. Теперь надо все сносить и наново делать.

— И где вам жить?

— Так тут дома на колесах, женщины все равно больше там. Тут просто — если строиться на этой земле, то надо сперва вот это, а потом уже разрешение на дом, ясно?

Мне ничего было не ясно, но я кивнула.

— Так вот, сестрин малой. Он как? Из лучших в классе, в этой вашей школе?

Тут я подумала, что, отправив Артура Джека в коррекционную школу, вместо того чтобы он тут работал вместе с дядей, ему сделали большое одолжение, и потому ответила:

— Да. Он очень умный. У него все получится.

— Не, ну сдавать на аттестат он не будет, конечно. Не хватало сделать из него идиота.

Он отвернулся и зашагал прочь. И вот что на это ответить? В коррекционной школе речь об аттестате вообще не шла. Эдварда это повергало в ярость. Это было причиной многих нервных телефонных разговоров в нашем доме. Мне и в голову не могло прийти, что кто-то

считает экзамены инструментом отупления детей. Ну хотя сама я их не сдавала. Откуда мне знать.

Уже стемнело, так что Джози позвала Артура Джека, чтобы тот принес щенков, но он велел разобраться с ними без него. Так что Джози и еще одна девочка сами притащили картонную коробку со щенятами. Их мать дошла до двери и ждала снаружи. У нее не хватало половины уха. В целом — симпатичная собака, похожая на лабрадора, только поменьше и светло-коричневая.

Щенята не унаследовали мамину внешность. У них были слишком большие и слишком ушастые головы. Крысиные хвостики, как червячки. Глазки навывкате. Лапы плоские, мохнатые. И ни один не мог похвастаться ровным окрасом. Они выглядели так, будто толпа детей одевалась из одного шкафа, сражаясь за несколько комплектов одежды, и кто что схватил, то и надел. У самого маленького щенка — видимо, про него Артур Джек говорил, что он не жилец, — половина морды была белая, половина черная, и разные глаза — голубой и карий, как будто он пробрался к шкафу последним и надел все, что осталось.

Я достала его из коробки, а женщина, что стояла у плиты, сказала: «Марианна, оставь ты этого доходягу. Майкл давно должен был с ним разобраться. У него только один глаз зрячий, спаси Господи».

Они называли меня славной, милой и доброй. Они говорили обо мне — «храни ее Господь». Храни ее Господь. Так что я взяла этого заморыша. Его завернули в полотенце, я спрятала его под свитер и так повезла домой. Свитер же большой. Пока я сидела на остановке, он мне весь живот описал, а по пути домой все время скулил и плакал. Ехали мы долго. Два автобуса, потом пешком. Руки ныли, было страшновато, что щенка увидят, что меня выгонят из автобуса. Я боялась, что уроню его или что он сам вывалится, запутавшись в одежде.

Когда мы добрались домой, Эдвард был на родительском собрании у Джо, а я не знала, чем накормить щенка. Он уже дорос до мяса? Собакам можно коровье молоко? Что там в холодильнике? Яйца? Собаки едят яйца? Я не знала. Мой живот искусили блохи, спать щенку было негде, ошейника нет, миски нет, положить в миску тоже нечего. Я-то думала, что главное — принести его домой, к Эдварду, а там само уладится.

Спускать щенка на пол я не хотела, потому так и шаталась по дому с ним под свитером. Уже полотенце промокло и испачкалось, я взяла новое, а они все не возвращались. В итоге я напоила щенка водой, завернула его в свежее полотенце и унесла в свою постель.

Я слышала, как они вернулись — довольные, с какой-то едой, с поздравлениями, но решила не спускаться вниз, чтобы не будить щенка. Только тогда я вспомнила, что обещала тем вечером посидеть с Джо, чтобы Эдвард съездил в школу, но забыла, и ему пришлось брать Джо с собой, причем допоздна. Я вспомнила даже, как он делал пометку в календаре на кухне, и даже обвел ее, и лишний раз мне напомнил, и была уверена, что он сердится на меня. Я также знала, что утром он всего лишь деликатно мне об этом скажет, а я не заслуживала такой деликатности.

Я лежала в кровати, и мне было стыдно — за себя, за те добрые слова, которыми меня незаслуженно называли весь вечер, — добрая, милая, славная — и за то, что Эдвард мне доверился, и за то, что подвожу его. Я через дверь пожелала им спокойной ночи, изо всех сил стараясь скрыть слезы в голосе, а потом свернулась калачиком возле маленького уродливого собачонка, чтобы он не скучал так по дому, и всю ночь проплакала в него от осознания собственной никчемности. А потом дала ему имя, как у игрушечного медвежонка — Тедди.

Утром я встала непривычно рано, потому что щенок скулил, копошился и гонял блох. Я слышала, как Эдвард и Джо собирают себе обеды. У них возникла какая-то дискуссия по поводу сыра, так что на щенка они едва взглянули. Я решила, что это хорошо. И еще, кажется, Эдварду прислали записку о том, какая я милая девочка и принимаю все близко к сердцу, потому что он ни слова не сказал о прошлом вечере и произнес только: «Значит, ты завела собаку?», что я восприняла как согласие. Если бы он сказал «у нас собака» или, что еще хуже, — «у меня», это бы означало, что у меня проблемы и что Тедди, вероятнее всего, отправится в собачий приют. Но Эдвард спиной вперед вышел из комнаты, неся свой портфель, плащ, ланчбокс Джо, папку, две разных перчатки, какое-то разрешение для Джо и ключи от машины. Потом он остановился, положил все это и вернулся ко мне.

Тогда он внимательно рассмотрел щенка, нежно придерживая его голову двумя руками и нахмурившись при виде незрячего голубого

глаза.

— Поищи в справочнике ветеринарную клинику, если хочешь оставить щенка себе, Марианна. Я куплю тебе книжку по уходу за собаками.

И он действительно принес книжку, и я, к его удивлению, ее прочла и даже записалась с Тедди на занятия к кинологу, специально найдя подработку по выходным, чтобы самой за них платить. А Эдвард возил его к ветеринару, обращался с ним терпеливо и спокойно, и вытирал за ним пол в кухне, и максимум критики, который я от него слышала, — это «привести в дом собаку — не худшее из всего, что ты могла бы сделать».

Оставаясь дома и дрессируя Тедди, я немного пропустила школу — но не больше, чем до его появления, и к тому же я теперь была дома не одна. Когда пришла моя кураторша, мы весь день разговаривали о Тедди и играли с ним, она сфотографировала одеяльце, на котором я вышила его имя, а потом сказала Эдварду, что он здорово придумал — завести для меня собаку. Очень терапевтично. Эдвард пожал плечами. Пусть этот плюстик достанется ему. Главное, что в единственном здоровом глазу Тедди я останусь милой, славной, доброй девочкой.

Я периодически фотографировала Тедди и показывала снимки одноклассникам, но Артур Джек ни разу не проявил к ним интереса. Я даже спросила, можно ли как-нибудь принести щенка его бабушке, поделиться успехами, но он просто пожал плечами и отвернулся. Повторно меня никто в гости так и не позвал.

Я точно знала, что выбрала правильного песика. Дело не в том, что он был таким славным и преданным, и не в том, что он служил прекрасной отмазкой, благодаря которой можно было проторчать дома все студенческие годы, что в целом было вполне логично для балбесины вроде меня, и даже не в том, что с ним приходилось гулять и работать по субботам, чтобы его кормить, и не в том, что на моем третьем десятке он все время был рядом, почти до самого рождения Сюзанны, пока не решил, что я уже не нуждаюсь в нем так сильно, и тихо не умер во сне.

Дело в том, что сказки научили меня раз и навсегда: выбирая из трех предложенных даров — золотой, серебряный, деревянный, — всегда бери самый простой, самый скромный из всех. Три брата, три

сестры, три сундука с сокровищами. Выбирай самое неочевидное и не забудь поблагодарить всех, кто помогал тебе на пути, — особенно если среди них была пожилая женщина. Пожилая женщина с прекрасными длинными пальцами, унизанными украшениями, которая тебя не слышит, но знает, кто ты на самом деле.

И та сова, которая была прежде дочерью пекаря, — она научит тебя быть особенно вежливой и доброй к пожилым женщинам, потому что если ты откажешь ей в еде, в толике доброты, то она обратит тебя в ночное создание, вопящее о помощи на никому не ведомом языке. Твой совиный крик будет вечно звучать в ночи, и никто не придет тебя утешить.

15

Практикующий язычник

15



Практикующий
язычник



*Ах хохотушка, ведьма-егоза!
Сало жарит, щурит глаза!
Дома никого, кроме брата моего,
Мамы, папы и меня самого.
Палка, хворост, камень лежит,
Слепец не видит, далеко не убежит.
Кому сидеть на привязи, на ремне?
Может, тебе, а может, и МНЕ!*

На втором курсе в школе искусств у нас преподавал приглашенный лектор по имени Марк — он был ко мне очень внимателен, всегда интересовался работами. Я рисовала сцены из баллады «Молодой Тэмлейн^[10]», пользуясь смесью из мела, угля и клея. В результате выходило нечто невразумительное и аляповатое. Дженет выглядела как девицы с советских плакатов — сплошь мускулы и решимость. Марк спрашивал, почему я изобразила Тэмлейна таким бледным и худым, почти прозрачным. В чем задумка? Он разве должен казаться настолько больным? Мне же Тэмлейн всегда почему-то виделся зеленым, примерно как те зеленые дети из маминой сказки.

Я сказала, что в моем представлении он слишком долго жил среди фей, а они кормили его травой. Все же знают, что нельзя есть их пищу.

— Хм, возможно, — ответил Марк. — Эти сказки я знаю. Но, как по мне, он у тебя слишком уж ущербный.

Дельное замечание. Рядом со стахановкой Дженет Тэмлейн выглядел тщедушным и хилым и определенно нуждался в помощи.

— В твоей версии получается, что главная в этой истории Дженет, — заметил Марк.

— А разве нет? Ей пришлось иметь дело то со львом, то со змеем, пока феи не отпустили Тэмлейна. Да еще и это проклятие вдогонку: «Чтоб самой страшной из смертей ты, девка, умерла!»^[11] Нужно быть очень сильной, чтоб все это выдержать.

Он вообще задавал много вопросов о балладах, особенно про переселение душ. Меня радовало, что кто-то наконец тоже увлекся этой идеей. После ухода из школы он написал отзыв на мою работу, причем упомянул, что ему «нравилось наблюдать за работой практикующей язычницы».

Это я-то язычница? Вот уж не думала ни о чем таком. У меня вообще всегда плохо получалось что-то практиковать — да и вообще чем-либо заниматься целенаправленно и регулярно. К сожалению, Марк перестал у нас преподавать — лекторов обычно приглашали на один семестр, — так что спросить, что он имел в виду, я не могла. Я знала только, что речь шла обо мне. И по логике вещей — о моей маме тоже.

В конце летнего семестра он вернулся, чтобы провести лекцию о собственной работе и заодно посетить наш вернисаж. Его труд представлял собой крохотные яркие рисунки на медных дисках: издалека они казались сияющими абстракциями, но при детальном рассмотрении выяснялось, что вся композиция состоит из крошечных разномастных танцующих человечков, растений и животных. Каждую фигурку он рисовал кистью-волоском. Диски были размером не больше чайного блюдца.

Марк захотел посмотреть мои работы, заодно поздравил с окончанием учебы. Моя экспозиция состояла из иллюстраций к «Перлу». Я думала, что ничего с этой затеей не выйдет, потому что никогда прежде не бралась за иллюстрацию целой книги, но, поскольку никто с факультета все равно ее не читал, мне дали зеленый свет.

Я собрала серию панно из всего, что попало под руку: сухих плодов, желудей, разного мусора, обломков игрушек из киндер-сюрпризов, фантиков от конфет, разорванных на ленты детских книжек — и все это было собрано поверх карты нашей старой деревни. Это была чуть ли не первая моя попытка показать всю историю целиком, большой шаг вперед от карандашных рисунков в школьных тетрадках и черно-белых фото, из которых состояла моя первая курсовая работа.

На самом деле, я показала только начало и конец истории. Я сделала сад, обнесенный стеной, грядки с травами, детскую могилку, тропинку к реке и скорбящего у могилы человека. Весь эпизод на берегу реки, когда он обращается к умершему ребенку, был представлен растянутой и закрепленной на краях нескольких панно синей блестящей синтетической лентой, которую я нашла возле канала. Ангелы с берегов растворились в перевернутом отражении собора на поверхности фантикового пруда.

Я представляла себе композицию как идеальный круг, нитку бус с крошечными зацепками, связывающих элементы подобно аккуратным звеньям на нитке четок. А потом пришла одержимость каждым изображением: я старалась идеально скомпоновать пластиковые кукольные ноги и руку от другой куклы, слой за слоем накладывала акрил, выискивала самый убедительный способ сделать так, чтобы мутные воды пруда казались глубже по центру, а грязь

по его краям выглядела истоптанной и глянцевой. Основная часть текста из распотрошенных книжек осталась под слоями краски и клея, спряталась за осколками керамики.

Я думала, что если сделаю каждое панно настолько хорошо, насколько вообще могу, то, когда экспозиция будет готова, история как бы расскажет сама себя, откроется, как по волшебству. Но когда я собрала элементы воедино, то увидела только путаницу, неровные поверхности, грубые края, а сама история потерялась, и ее смысл — в чем бы он ни заключался — не открылся мне, но прятался все глубже и глубже под слоями краски, клея и лака.

А где же был тот самый перл, та жемчужина? Я пристроила пластиковую бусину от игрушечного ожерелья, выглядевшую как жемчужина, вместе с серебристым кукольным шлепанцем на высоком каблуке где-то в саду на первом панно; однако, когда я перенесла все работы из мастерской на выставку, оказалось, что не могу найти ни то ни другое. Возможно, я расставила элементы композиции в неправильном порядке. Могилка почему-то вообще оказалась в конце. А может, жемчужина отвалилась или я ее случайно закрасила.

Я пошла обратно по коридорам, обыскивая по пути грубо сколоченные деревянные тележки, на которых мы обычно возили свои работы. Наверное, мою тележку кто-то уже укатил. Я рылась в каких-то ошметках, пыли, мягкой красной глине на дне тележки, пытаюсь найти свои потерянные игрушки. Я шаталась по коридорам и пинала мусор цвета глины, сметенный к плинтусам, пока не добралась до разобранной студии, где перегородки уже были сдвинуты, а посреди помещения, под огромным прожектором, громоздилась куча из обрывков малярной ленты и содранной со стен бумаги.

Без перегородок и работ комната казалась непривычно светлой и гулкой. Кто-то перемешивал электрической шутовкиной гигантскую бочку побелки, а остальные оралы, пытаюсь перекричать шум. Два человека уже начали белить стену, роняя капли плохо перемешанной краски на пол, остальные хватили кисти и шарахались, когда брызги летели во все стороны. Я даже толком не могла понять, где раньше располагалось мое рабочее место. Там точно искать было нечего.

Так что я вышла наружу и отправилась в сторону комиссионного магазинчика в нескольких кварталах от школы искусств. Там всегда находилось что-то полезное. Может, у них завалилась какая-нибудь

дешевая бижутерия. Однако меня отвлек набор пиал и кошмарный зеленый бархатный плащ с капюшоном — вот бы он пригодился, когда я рисовала Тэмлейна. В итоге ушла я с добычей в виде настольной игры из семидесятых под названием «Волшебный робот».

На игровом поле было два круга. Сперва нужно было поставить магнитного робота в первый круг так, чтобы он указывал на нужный вопрос, а потом переместить его в центр второго круга, и там он вращался, а потом останавливался, указывая на нужный ответ. Кругов с вопросами и ответами было несколько, потому надо было следить, чтобы вопросы и ответы были подходящими по смыслу, иначе получалась полная чушь.

Когда я вернулась в школу с «Волшебным роботом» вместо обеда, оказалось, что куратор уже успел навести порядок и перевесил мою длинную череду мрачных иллюстраций к «Перлу» в виде квадрата шесть на шесть, а те панно, что ему не понравились, сложил на полу. Обновленная экспозиция опиралась на соотношение цветов и текстур, где самое детальное оставалось на уровне глаз, а более тусклое смещалось к углам. Пришлось признать, что так все действительно выглядело лучше.

Но любая связь с историей, с последовательностью событий оборвалась напрочь. Не помню даже, попало ли на стену панно с пропавшей жемчужиной. Меня вдруг взбесили и кричащие цвета, и невыразительные лица. В приступе чистой ярости я воткнула Волшебного робота куда-то в центр, окружила его вопросами о квадратных и кубических числах, а в другой части поместила ответы о природе, искусстве и космосе. Робот был, конечно, ключевым фактором моей оригинальности.

К открытию выставки я возненавидела свое творение. Я готова была его убрать, если бы только было чем заменить. Марк закончил лекцию, упаковал свои работы, и я решила спрятаться, забившись в угол кафетерия, потому что мне ужасно стыдно было обсуждать с ним то, что я соорудила. Однако он искал меня по всему зданию и наконец нашел. Потом сообщил, что его жена Мари специально пришла со мной познакомиться.

— Я рассказывал о твоих работах, — сказал он. — Она пошла в зал, чтобы все рассмотреть.

Пришлось подниматься на два этажа от кафетерия до экспозиции, и на каждой лестничной площадке Марк останавливался, чтобы отдышаться.

— Ты любишь немецкую выпечку? — спросил он. — Мари немка, я обещал отвести ее в одну немецкую пекарню. Пойдешь с нами? Там пекут потрясающий «Захер»! Если не знаешь, что это, ты тем более обязана пойти.

Я увидела Мари возле моих коллажей — маленькую кругленькую женщину с выкрашенными хной рыжими волосами, выбивающимися из небрежного пучка на макушке. На ней была длинная юбка с рисунком из солнц и лун и ярко-бирюзовый джемпер. Она говорила с таким энтузиазмом, что чуть ли не подпрыгивала на месте, пружиня подошвами красных замшевых кроссовок. И самое неловкое — Волшебный робот привел ее в особый восторг.

— Марк рассказывал о твоих коллажах! Он говорил, что они весьма замысловатые. Замысловатые? Я сказала — «замысловатые»? Они просто прекрасны. Робот потрясающий! Я в него просто влюбилась! И эти вопросы о числах! И квадрат шесть на шесть! Ты же наверняка разбираешься в нумерологии. Нет?

— Это не все панно. Не знаю, куда подевались остальные.

— Но ведь отбор — это тоже часть процесса.

— Вообще-то, выбирал мой куратор. Шесть — хорошее число? А тридцать шесть?

— Идеальное! Только взгляни на квадраты внутри квадратов! Каждый будто история внутри истории, да?

— Вышло бы более впечатляюще, если бы я сама понимала, что делаю.

— Ничего подобного. Ты опиралась на интуицию. Хорошо натренированную интуицию!

— И на везение, особенно когда рыскала по ближайшей комиссионке...

Несмотря на все попытки объяснить, что я никакая не язычница и даже толком не художница, Марк и Мари слушали так, будто я говорила нечто совершенно осмысленное, будто я прекрасно представляю, что именно происходит на моих панно. Они настояли, чтобы я пошла с ними в немецкую пекарню и они познакомили меня

с «Захером». Мне начало казаться, что они хотят узнать меня поближе, пусть даже и заблуждаются насчет моих талантов.

Еще они пригласили меня к себе на летнее барбекю в ближайшую субботу, сказав, что обычно к ним приходят все соседи. Мероприятие называлось каким-то незнакомым словом — немецким, что ли, — я забеспокоилась, должна ли принести с собой какую-то еду или напитки, потому просто спросила, что взять с собой. «Ничего не нужно, — ответили они. — Главное, себя возьми». Я покраснела.

Я не особо верила, что могу украсить хоть какую-то компанию, особенно если явлюсь с пустыми руками, так что все субботнее утро пекла шоколадный чизкейк, подбадривая себя с помощью белого вина из бара Эдварда, и утюжила платье, купленное в комиссионном. Оно было на два размера мне велико, и у меня все не доходили руки его укоротить и перешить во что-то более пристойное, хотя очень хотелось.

Марк и Мари жили в большом доме тридцатых годов постройки возле парка, где Джо в свое время любил запускать игрушечные кораблики, а я вечно плутала, так что по пути с автостанции я в одной руке несла тарелку с чизкейком, накрытым фольгой, а в другой — путеводитель по Бирмингему. Мне было немного неуютно в платье, которое болталось вокруг талии, и вообще мой бледный вид не вполне соответствовал жаркому дню и тарту в руке. Зря я не надела привычные джинсы с футболкой. Едва я оказалась в парке, как тут же заблудилась; не помогла даже карта, хотя я уселась на скамейку, поставила торт и тщательно изучила план местности.

Так что я сидела, крутила в руках путеводитель и пыталась хотя бы определить, в каком направлении смотреть. Вдруг рядом остановился парень с великом:

— Марианна? Ты-то что здесь делаешь? Ты в церковь, что ли?

Я узнала его: он тоже учился в школе искусств и принадлежал к особому типу невозможно классных парней с идеальной кожей, которые постоянно носили черное. Их всех звали то ли Бен, то ли Дэн — в общем, как-то кратко. Кажется, это был один из Бенов. У него даже велосипед был выкрашен бликующей черной краской. Видимо, он из-за моего платья решил, что я направляюсь в церковь. Короче, я явно выбрала не то, что нужно. Ситуацию не спасало даже то, что под платьем у меня был лонгслив, скрывающий шрамы на руках,

а древние пуговицы на груди постоянно выскакивали из своих не менее древних петель.

— Меня пригласили на летнее барбекю. Только вот я опаздываю. Заблудилась.

Я сказала ему, какая улица мне нужна, и он буквально согнулся пополам в приступе хохота.

— Не летнее, а в честь летнего *солнцестояния*. Они опять будут там скакать голыми и распевать песни? О да, я тебя провожу. Там все улицы ими забиты, каждый как не друид, так ведьма. Ну ты знаешь — вот это вот все. Подвески из кристаллов на окнах, веганская выпечка.

Я взяла чизкейк, путеводитель и направилась за своим провожатым. Остановиться и застегнуть пуговицы я не успевала — очень уж быстро он шел. Время от времени он оборачивался и снова хохотал.

— Нет, слушай, ты же отлично впишешься. Это что у тебя? Чечевичный пирог? Огонь. Я Дэну расскажу. Надеюсь, пирожок органический и без сахара. Ты точно хочешь туда идти?

Он остановился возле разросшегося сада у дома, фасадное окно которого было увешано целой гирляндой кристаллов — как и было обещано.

— Спасибо за инструкцию. Ну, за то, что проводил.

— Не говори потом, что я не предупредил. И постарайся уйти до девяти, пока все не начнут раздеваться. — Он взобрался на велосипед одним плавным движением и изящно свернул за угол. Я даже представила, что он едет и хихикает себе под нос, хотя с такого расстояния все равно бы не услышала.

Входная дверь была распахнута настежь, из сада доносилось щебетание детей, слышалась женская болтовня и басовитые голоса мужчин. В холле пахло мятой, старой древесиной, свежим хлебом. Возможно, Марк был прав, причислив мою маму к язычникам, если именно так обычно пахнет жильё язычников. Под лестницей у стены стояли две метлы с украшенными сухоцветами древками. Из кухни вышла Мари:

— Марианна! Ты пришла! О, у тебя с собой тортик! Ты точно всем понравишься. Я на пару минут его в морозилку поставлю, чтоб был посвежее. Как тебе мои метлы? Не удержалась от сантиментов.

Эти метлы были у нас на свадьбе — знаешь традицию перепрыгивать через метлу?

Я последовала за ней на кухню, где толпились ее подруги — все в длинных платьях и с крашенными хной волосами по пояс. Они заняли всю кухню — ходили, покачивая широкими бедрами от стола к холодильнику, разворачивали принесенные с собой салаты большими веснушчатыми руками, что-то нарезали, нанизывали на шампур грибы и перец, разливали напитки, передавали кружки с домашним пивом в открытые двери.

Они говорили все одновременно, просили друг дружку перестать, разражались хохотом и продолжали в том же духе. Меня трогали, поглаживали, расспрашивали, выдали мне стакан холодного чая — точь-в-точь мамино — с мятным листиком и долькой лимона. Я даже пить не решалась, чтобы не разрушить волшебство.

Одна из женщин спросила: «Это ведь ты рисовала иллюстрации к балладе, да? Марк нам рассказывал. У тебя есть сайт?» Еще одна похвалила ткань платья, напомнив мне, что именно из-за нее я это платье и купила — сине-зеленый геометрический орнамент, фестоны по краю подола. Я ответила, что оно из комиссионного магазина, что все никак не перешью, да и пуговицы постоянно расстегиваются.

— О, можно просто зашить спереди, я бы так и сделала. Тогда и пуговицы можно оставить на месте. Смотри, это же ручная работа, как и само платье. Рукава только износились. Но их можно отпороть, получится сарафан.

Мари шикнула на них, словно отгоняла цыплят:

— Отстаньте от девочки! Вы ее запугаете. Марианна, это чудесное платье, пойдём-ка я провожу тебя в сад, куда-нибудь в тень.

В саду были беседки и самодельные шатры из цветного полотна, растянутые в зарослях стручковой фасоли, везде лежали покрывала и стояли стулья: на них сидели люди, они болтали, пили напитки из высоких стаканов и пивных бутылок, а дети валялись на ковриках или бегали вокруг клумб или швырялись друг в друга ледяными кубиками из своих напитков.

Моей маме понравились бы эти грядки и цветники, эти устройства для сбора дождевой воды, эти использованные контейнеры, приспособленные для роста всего съедобного или душистого. Стенка гаража, например, была целиком утыкана раскрашенными в полоску

стаканчиками из-под йогурта, в которых росла герань, а внизу, у стены, росли помидоры — в каких-то ящиках, старых раковинах и даже унитазе. Там стоял такой привычный маслянистый запах нагретой солнцем герани и томатной ботвы. У нас так же пахло в теплице за старой прачечной.

Я спросила у Мари:

— А что, помидоры и герань разве хорошо растут вместе? Моя мама, кажется, тоже сажала их рядом.

— Дело не в том, что они хорошо соседствуют, просто тля не любит герань, зато очень уж любит помидоры. Вот в чем смысл. — Мари потрогала помидорный лист, и ей в ладонь упала тля. — Видишь?

В конце сада стояло маленькое деревянное шале, выкрашенное синей краской, с распашными ярко-желтыми дверями, выходящими на веранду, где висели диско-шары и витые металлические цилиндры, которые плавно вращались, поблескивая цветными отражениями домика и сада.

— Идем, — сказала Мари, — покажу тебе свой сарайчик. Его всю прошлую зиму строили, теперь я им хвастаюсь.

Она распахнула желтые двери, и тут я поняла, почему ей хочется хвастаться. Целую стену занимал стеллаж с ящичками из старого магазина тканей, причем за стеклянными окошечками на ящичках еще сохранились этикетки — «Перчатки — простые», «Ленты — зеленые» — хотя сейчас в них лежали краски, мелки и карандаши. На длинном верстаке у окна выстроился ряд бутылок и банок из-под сиропа и патоки с разными ручками и сверкающими приспособлениями, которые Мари, по ее словам, использовала для работы с серебром.

Мари рассказала, что ведет вечерние курсы по изготовлению украшений. Сказала, что если я пожелаю, то в любое время могу прийти на бесплатный урок. Летом она иногда проводила дневные занятия, после которых ученики всегда приносили домой по паре колечек или серег. Она показала комплект сережек, над которым как раз работала, — полумесяцы с подвешенными на серебряных цепочках серебряными дисками. Сказала, что к моим коротким волосам они очень подойдут. Потом завернула серьги в салфетку и сунула мне в руку.

Затем она стала открывать какие-то деревянные ящички в столе, достала оттуда деревянный брусок с чем-то вроде винта с плоской головкой на конце, потом кусачки, и стала показывать, как делать круглые серебряные звенья, смыкать их и соединять в цепочку. Я сделала простые кольца и вдела их в самые нижние дырочки в ушах. Она сказала: «Ты прелестна!» Я знала, что это не так.

Мне вдруг стало ужасно неловко — за свое выгоревшее платье, за старые кеды, за зудящие шрамы на руках, за холодные проплешины за ушами, где почти не росли волосы. Мне хотелось уйти, но я не успела и расплакалась. Что-то в ее жесте, котором она протягивала мне самодельные украшения, и то, как она назвала меня прелестной, напомнило мне маму — это и помидорно-гераниевый аромат летнего сада.

Я вспомнила тот последний джемпер с разными полосатыми рукавами, постукивание и позвякивание бусин, которые я отгрызала, но самое ужасное — я вспомнила, какой чистой, без шрамов и порезов, была кожа моих запястий под этими рукавами. Мама заправляла волосы мне за уши, от ее пальцев пахло луком и землей, и ушки у меня были нежные, гладкие, без шрамов, проколов и всякого пирсинга.

Мари сделала вид, что не видит моих слез — она отошла от меня и просто сказала, мол, оставайся тут сколько хочешь, осмотришься, а мы будем в саду, присоединяйся. Она ушла, а в мастерской остался ее запах, аромат свечей, и свежего дерева, и камфоры, и жаркое дыхание мангала за окном, висящее в воздухе послевкусием ее округлых гласных и мелодичного голоса иностранки.

Я немножко постояла у открытой двери. Все женщины в саду были одеты в длинные цветные юбки — кроме одной очень миниатюрной пожилой дамы, сидевшей в самом лучшем месте в тени, бледной, как сливки, в таком же белом платье, с гладко выбритой головой и зелено-золотыми тенями на веках. По узким дорожкам между высоких грядок носилось множество детей; они обливали друг друга из брызгалок, таскали мимо дровяника лейки размером в половину себя самих, кто-то складывал дрова в небольшие кучки, а потом разбирали. Ко мне подошла девочка.

— Ты Марианна? Марк сказал, что ты поможешь нам искать сокровища. — Она протянула мне маленькую теплую ручонку,

и я с благодарностью приняла эту возможность запросто вернуться к остальным гостям.

— Что у тебя с рукой?

— Я застряла в кустах крыжовника. Не здесь, в другом саду. А потом еще в ежевичнике. И в чертополохе.

— А здесь растет ежевика?

— Нет, здесь искать сокровища совсем не опасно. По-моему, Марк специально срезал все ежевичные кусты.

Я знала, что говорю так же, как моя мама, объясняю ее языком, это была ее манера рассказывать истории, и на секунду мне подумалось: а что если она рассказывала их мне, пряча свои слезы и шрамы, а я принимала все так же легко и беззаботно, как девочка по имени Роуз сейчас вела меня за руку через сад.

К тому времени, когда мы съели все вегетарианские шашлыки и салаты и выпили море пива из разномастных чашек и кружек, мужчины уже успели снять рубашки и поливали разгоряченных детей из садовых шлангов, а вскоре и вовсе разделись. Никто не делал специальный перерыв посреди общего веселья, чтобы церемонно снять с себя одежду — просто в течение вечера все гости постепенно снимали и снимали с себя то, в чем пришли.

Зрелище было по большей части несимпатичное. Марк был кругленький, рыжеватые волосы росли на нем отдельными островками, но большинство мужчин представляли собой тот узловато-жилистый типаж средних лет, который при любых обстоятельствах выглядит в одежде лучше, чем без нее. Та пожилая дама с бритой головой аккуратно сложила свое платье в плетеном кресле, чтобы сидеть было еще удобнее, и осталась в длинной светлой комбинации на тонких лямках, открывающей полоски шрамов, тянущихся от подмышек до отсутствующих грудей.

Несколько взрослых спросили, не хочу ли я поработать у них няней. Они написали свои имена и телефоны на моей пачке сигарет. Роуз сплела мне некое подобие огромной гирлянды из разнообразных садовых цветов. Видимо, был какой-то момент между поливом детей и раздеванием женщин, когда стоило бы уйти домой, но я его пропустила.

Потом женщины вдруг вспомнили, что есть же еще десерт. Из холодильника достали мой чизкейк, похожий на ком застывшей

лавы, были еще фрукты на шпажках, липкое хрустящее шоколадное печенье, капкейки, фруктовые пироги и желе, и все это ждало в кухне, чтобы не растаять на жаре.

Теперь же люди вокруг меня все более обнажались, и я бы сама с радостью сняла свое нелепое платье, если бы только под ним было надето что-то приличное — что-то, скрывающее порезы на бедрах, животе, а главное — руках. Хотелось бы сказать, что вся эта чушь осталась в прошлом, превратилась просто в шрамы, отметины, рубцы, оставленные тяжелыми временами, но среди порезов были и свежие.

За оберткой сигаретной пачки я носила бритвенное лезвие. Днем, в мастерской, я сделала несколько новых надрезов. Бывало, я тянулась за лезвием и обнаруживала на нем свежую кровь, а то и с удивлением находила новые порезы на ногах. Я не всегда даже отслеживала, как режу себя, — точно так же, как не всегда можешь вспомнить, как застилал утром постель, потому что это рутинное действие.

Когда все отправились на кухню за десертом, в саду осталась только я и бритоголовая пожилая дама. Я чувствовала, как под рукавами пульсирует кожа рук, как моя кровь буквально ищет выход наружу, как под белой тканью лонгслива и сине-зеленым покровом платья вздымаются вены. Едва из дома выбежали дети с мороженым и желе, я схватила сумку и понеслась к воротам и вниз по дороге, в сторону дома.

Уже когда я шла через парк, до меня вдруг дошло, что я оставила в саду свои сигареты — ту самую пачку с лезвием и записанными телефонами. Конечно, если кто-то найдет ее и обнаружит лезвие, то в няньки меня уже точно не позовут, но мне было жаль, что я в таком случае больше не увижу этих людей.

В конце концов я добралась до выхода из парка, потом до автостанции, мне хотелось курить, так что я мерила шагами платформу, чесалась и все гадала: какой была бы моя жизнь, если бы по субботам я ходила на курсы ювелиров, умела принимать в подарок серебряные украшения и дружбу от славных бездетных людей, которые всем способами показывали мне свою симпатию, если бы я подрабатывала няней у их друзей-язычников, присматривая за их детьми-язычниками, и, вероятно, даже сама стала бы язычницей, вышла бы замуж на уютной домашней церемонии с прыжками через

метлу, завела бы огород, пекла бы хлеб, рассказывала бы своим жизнерадостным детям-язычникам сказки моей мамы.

Но в основном я думала о том, что маме бы понравился этот дом. И сад бы понравился, и дети. Она бы расспрашивала других взрослых о растениях, о системах полива, а детям бы рассказывала потешки и считалочки. В автобусе я всю дорогу ощущала ее тепло, словно она сидит рядом, и вела с ней молчаливую беседу о прошедшем дне. Иногда я как бы со стороны наблюдала за собственной жизнью, приберегая для мамы лучшие ее проявления, внимательно глядя и запоминая детали, которые бы ей понравились.

Была ли мама язычницей? Не думаю. Да, она пела старинные песни. Она говорила со всеми живыми существами. С деревьями, прося позволения отломить веточку. С корнями на потолке пещеры. С сороками. Разве так не все делают? Разве не говорят с вымышленными существами? Например, когда мамин любимый совок в очередной раз терялся где-то в саду, она ходила и приговаривала: «И куда же эти вредные гномики снова спрятали мой совочек?»

С крысами — то же самое. Оказывается, чтобы избавиться от крыс в доме, нужно просто вежливо попросить их уйти. «Мистер Крыс, — говорила мама. — Простите, что отвлекаю вас от важных дел, но дело в том, что сейчас ваше присутствие в доме связано с некоторыми неудобствами. Мы бы с удовольствием предложили вам переселиться в сарай, там вашей семье будет достаточно тепло и комфортно. Надеюсь, вы правильно поймете мою просьбу. Благодарю за внимание». Однажды я заметила, что мама обращается к крысам в их отсутствие. Ведь крысы же приходят по ночам — не проще ли написать им письмо? Мама рассмеялась: крысы ведь не умеют читать. Ах да, конечно — не умеют. Вот я балда.

Она читала «Книгу Перемен» и Ветхий Завет. Она читала «Дао дэ цзин» и народные сказки. Она легонько дула в ноздри коровам и лошадям и говорила с ними мягко и ласково. Она собирала рассказы, песни и поверья точно так же, как собирала пустые банки для сливового варенья или пестрые черепки и осколки, выкопанные в саду. Собирала ради их пользы, ради цвета, ради историй, которые они в себе хранили.

Всю дорогу я рассказывала ей о барбекю, о метлах, о домашнем пиве, о сухощавых мужчинах и хне на женских волосах, о мокрых детях, о подтаявшем чизкейке, а она просто лопалась от смеха. Выйдя из автобуса в Вулверхэмптоне, я стерла слезу смеха со щеки и отчетливо услышала, как мама сказала мне прямо в левое ухо: «Поверить не могу, что ты не поняла про солнцестояние. И что не додумалась надеть приличное белье!»

У мамы был потрясающий смех. Она хохотала над многим, что мне в детстве вовсе не казалось смешным, но веселилась так, что не засмеяться вместе с ней было невозможно. Она буквально взрывалась смехом до слез. Визжала от смеха. Временами, когда я припасую для нее самые яркие моменты прошедшего дня или затеваю что-то странное, я будто бы стараюсь ее рассмешить. Я для смеха показываю ей картины, которые категорически не удались. Я пожимаю плечами в ответ на какой-нибудь абсурд, ожидая ее бурной, совершенно детской реакции. Она любила тупые шутки, и причем считала их смешными, даже если уже сто раз слышала.

Больше всего ей нравились истории о нелепых и смешных происшествиях. Однажды по пути с работы машина Эдварда застряла на затопленной дороге. Деревня была уже совсем рядом, так что он поймал кого-то на дороге и попросил помощи: машину дотолкали до маленькой автозаправки и там припарковали. Домой Эдвард добрался уже затемно, по щиколотку в грязи, а в его ботинках громко хлюпало.

На следующий день он пошел к своей машине и обнаружил, что случайно припарковал ее на площадке станции техосмотра. Владелец территории оказался весьма эксцентричным человеком — у него были всклокоченные черные волосы и такая же всклокоченная черная собака по кличке Пух. Эдварду он выписал квитанцию за техосмотр. Эдвард сказал, что он в целом и не возражал бы, если бы машина его не провалила с треском. Мама была в восторге от этого случая.

16

Откуда берутся дети

16



Откуда

берутся дети



Клубничный, черничный, малиновый джем!

Назови мне имя того, кто на душе:

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж!

Я знала, что они берутся из мамы. Когда мама была беременна Джо, мы с ней играли в игру: раз в месяц я должна была найти в доме предмет такого размера, как малыш на тот момент: персиковую

косточку, сливу, яблоко, грейпфрут. К тому же я сама видела, что он растет, переворачивается, приподнимается, как спинка уточки, когда она окунает голову в воду. Когда родители уехали в роддом, а к нам пришла на всю ночь миссис Уинн посидеть со мной, то я знала, что на следующий день в дом привезут совершенно новенького человека. Никакой ерунды про капусту и пестики с тычинками мне никто не рассказывал.

В начальной школе разговоров о деторождении хватало. Мы любили повисать вниз головой на шведской стенке, зацепившись ногами, и висеть до тех пор, пока вагина не начнет издавать пукающие звуки. Мы висели с падающими на лицо юбками, впускали в себя и выталкивали воздух и рассуждали, какой палец может поместиться в эту дырочку.

Одна девочка сказала мне, что именно из этого места вылезает ребенок. Я не поверила. Я-то была в курсе, как каждый месяц меняется размер ребеночка, и знала, что в итоге он будет размером с дыню. То есть никак не пролезет. Девочка по имени Кэрол сообщила, что когда принимала ванну, то ухитрилась засунуть туда целых два пальца вместе, но все остальные единогласно решили, что одного вполне достаточно.

А я задумалась: может, это какой-то фокус, может, ребенок выскальзывает маленьким, как головастик, а потом сразу надувается, едва оказавшись на воздухе. В таком случае не опасно ли, например, ходить в туалет — ведь младенец может случайно выскользнуть, и лови его потом. А вдруг сунуть руку в унитаз будет слишком противно? Тогда зачем малыш вообще вырастает внутри таким большим, если перед рождением снова сжимается? Загадка. В общем, я спросила Линдси. Она в ответ задрала свой желтый свитер и показала мне внушительный шрам от кесарева сечения.

— Ты знаешь, они и правда охрененно огромные, чтобы просто так взять и вылезти, — сказала она. — Так это еще Анн-Мари была всего два семьсот! Так что вот тебе самый лучший способ! — она взяла мою руку и провела ею по неровным краям шрама, тянувшегося от пупка до края кружевных трусов.

Кажется, мне было десять, когда Линдси перестала у нас работать, потому что у нее родилась Анн-Мари. Я думала, что девочку назвали в мою честь, но Эдвард сказал, что это совершенно другое имя.

К нам стала приходить ее сестра Мелани, но Линдси и сама регулярно бывала у нас — и чтобы сестре составить компанию, и чтобы вырваться из-под бдительного материнского ока. Она обычно говорила: «Анн-Мари пришла поиграть с Джо», хотя Анн-Мари была слишком маленькой, чтобы играть. Самое веселое, на что она была способна, — это пускать пузыри.

Примерно тогда я узнала о младенце из телефонной будки. По радио передавали, что кто-то обнаружил в телефонной будке младенца. Такой вариант показался мне гораздо более привлекательным, чем крошечная дырочка или огромный острый нож.

Я надеялась, что младенец из телефонной будки был как следует укутан. В нашей деревне тоже стояла телефонная будка, и в ней не хватало нескольких стекол. Я заглядывала в эту будку; там пахло мочой, а на маленькой черной полке лежал привязанный проволокой телефонный справочник. Не самое безопасное место для младенца. К тому же там микробы. А еще если младенца никто не найдет в течение дня, то он может умереть от голода или холода. Или от того и другого вместе.

Путь из школы как раз проходил мимо этой будки. Меня обычно сопровождали Мелани и Линдси — одна катила Джо в легкой полосатой колясочке, вторая — Анн-Мари на пышном розовом троне. Они не возражали, когда я убегала вперед, чтобы заглянуть в телефонную будку, кричали только: «Только ничего не трогай, там страшная грязь!», а я делала вид, будто бы собираюсь кому-то позвонить.

Я никому не говорила, что на самом деле проверяла, нет ли в будке младенца. Я боялась, что от него будет ужасно пахнуть — ну еще бы, в таком-то гадком месте! — представляла себе его кожу, желтую, как страницы телефонного справочника. Воображала его запеленутым в газету или вырванные из того же справочника страницы — безымянным, бездомным, ничейным. Я бы взяла его домой. Мне было плевать, откуда у людей берутся дети. Все их варианты казались мне отвратительными. Я придумала свой и знала, где искать.

Мне казалось, что доставить ребеночка домой будет сложно. Я знала, что младенцы ужасно вертлявые, а этот будет еще и голеньким, а значит — скользким. То есть нести мне его почти два километра — от этой будки и мимо церкви, вдоль реки, до самого

дома. Я вообще смогу его донести? Я смогу его правильно держать? А вдруг он заплачет? Или замерзнет?

Я представляла, как приношу его домой, ставлю ему на пол ванночку с теплой водой, как мы делали для Джо, потом после купания укутываю его в теплое полотенце, нахожу ему в шкафу один из старых комбинезончиков Джо, подогреваю бутылочку молока. Но каждый раз, предаваясь этим фантазиям, — а в телефонную будку я заглядывала каждый раз, когда оказывалась рядом, — я ни разу не подумала, что будет дальше. Можно подумать, кто-то разрешил бы мне оставить ребенка себе.

Я рассказывала другим людям об этих фантазиях, уже когда стала достаточно взрослой, чтобы обратить все в шутку. Мне было уже за двадцать, когда кто-то из знакомых вдруг прислал мне сообщение — «Эй, там твоего ребенка в телефонной будке нашли, посмотри» — и ссылку на местную газету. Это случилось не в моей деревне, но в похожей, где-то в Линкольншире. Там нашли младенца в телефонной будке. Замерзшего, завернутого в газету — в точности как я представляла. Хорошо, что кто-то услышал его плач до того, как стало слишком поздно. Его юную мать уже отыскивали.

Но прежде, чем мой взрослый мозг успел включиться и представить всю боль и страх оставившей младенца девочки, всю грозившую им обоим опасность, я ощутила, что меня ограбили. Именно такой была моя первая реакция. Моего ребенка наконец нашли, но это сделала не я. А потом, со следующим ударом сердца, пришло еще одно чувство: вина. Как я могла перестать искать? Как я могла предать?

Сюзанну я нашла не в телефонной будке. Однако прежде, чем она нашлась, я пыталась искать ее в весьма неподходящих местах — например, в отношениях с людьми, которым я была не нужна, не говоря уж о моем потенциальном ребенке. Я искала ее во встречах на одну ночь. Я искала ее на сайтах агентств по усыновлению, которые даже не стали бы рассматривать заявку от одинокой молодой женщины без постоянного места работы. Я даже уговорила однокурсника дарить мне флакончик спермы раз в месяц в обмен на угощение в баре и письменное обязательство никогда не предъявлять ему никаких материальных претензий касательно содержания ребенка, написанное на обороте реферата по истории искусств.

Проблема в том, что жил он в соседнем квартале, и поскольку его отвращала мысль, что я буду разбираться с его спермой в его же ванной, мне приходилось нести флакончик домой, спрятав под футболку, чтобы сперма не замерзла. Наверное, она все-таки замерзала. В любом случае это так и не сработало. Он как-то сказал, что в любое время мы можем попробовать действовать, так сказать, напрямую. Я отказалась. Дело не в том, что он мне не нравился — наоборот, я боялась, что он станет нравиться мне слишком сильно. Я и так излишне к нему прониклась из одного только чувства благодарности.

До тридцати лет я искала свою дочь в череде плохих решений и тупиковых концовок. В итоге я забеременела Сюзанной весьма традиционно. Я влюбилась. Оказывается, все эти шаблонные попсовые песенки не врут. Как бы я ни отстранялась, как бы ни говорила, что это не мой путь, — не помогло. Я работала в галерее, и мне понравилась одна из его работ: нагромождение разноцветных туфель и ботинок. А потом я как-то увидела и автора: он стоял перед этой картиной и спросил моего мнения. Я ответила, что она мне нравится больше всех из-за цветовой гаммы.

— Отлично, — ответил он, — потому что это моя картина.

— Похоже, у тебя много классной обуви.

Он обернулся ко мне и улыбнулся. И я вдруг четко осознала расстояние между нами — не только просвет между звучащими голосами, промежуток из выдыхаемого воздуха, а буквальное расстояние между нашими телами, ногами, ступнями на полу. Я склонила голову, чтобы не смотреть в глаза. На его ногах красовались ярко-голубые «мартенсы». На мне были темно-красные.

— Красивые ботинки.

Мы подняли головы одновременно. Стало ясно, что теперь я поверю во все, что он скажет. В каждое слово. Он сделал полшага назад и сказал: «Ну что, еще увидимся. Если возьмете другие мои картины». Пожал плечами и ушел. На его месте осталась пустота, он удалялся, и я неожиданно для себя двинулась за ним, открыла дверь, за которую он уже вышел, и просто смотрела ему вслед.

Он дошел до угла, вытащил из кармана пальто полосатую шапку и натянул на голову. Походка у него была совершенно мальчишеская — с подскоком, с пританцовыванием. На ум пришло слово

«залихватский». Залихватская шапка. Залихватская походка. «Залихватский» — несексуальное слово. Я рассмеялась вслух, а он услышал, обернулся и помахал мне.

Всю следующую неделю я читала его досье, выучила его наизусть, а в процессе постоянно пыталась убедить владельца галереи выставить побольше его работ. Картину с обувью так и не купили, а владелец приезжал всего раз в несколько недель, так что к следующему визиту художника особого успеха я не добилась. Когда я пришла открывать галерею к началу рабочего дня, он уже ждал меня у входа.

Он сказал что-то вроде: «Ну что, не продались мои ботиночки?», а я ответила: «Ты тут какими судьбами?» Он даже не стал делать вид, что пришел к Дональду, владельцу, или что принес новые картины. Он просто сказал:

— Я к тебе. Может быть, сходим куда-нибудь вместе, поужинаем? Познакомимся поближе.

Я не могла выдать ни слова. Стояла и молча таращилась на него.

— Мое имя ты знаешь, картина же подписана. Я Барни. А ты?..

— Марианна.

— Как романтично. Из обнесенной рвом усадьбы^[12].

— Скорее, из болота. Из такой, знаешь, трясины. С затопленного пути. Ну пусть будет обнесенная рвом усадьба, если тебе так больше нравится.

— Ты как насчет позирования?

— В смысле?

— Для портрета. Это твой натуральный цвет? Или с краской для волос осечка вышла?

— Предполагалось, что будет блонд. Блондинистый.

— Может, тебе шляпу носить?

— Залихватскую шляпу? Я даже знаю, где ее взять.

— Залихватскую? Какое раритетное словцо, Марианна из обнесенной рвом усадьбы.

У него в студии обнаружилась уйма разных шляп и шапок. И соломенные шляпы, и расшитые пайетками, и кружевные чепчики. Мне было выдано вязаное подобие тубетейки. Рисовал он в полном молчании, а я смотрела в сторону. Даже не знаю, как именно он

смотрел на меня. Только когда я увидела готовый рисунок, стало ясно, насколько хорошо он меня разглядел.

Мы остановились у определенной черты и не переступали ее. Я упражнялась в недоверии к людям, ухитряясь спать с кем попало, но никогда не придавая этому большого значения. Барни же никому не доверял и потому был предельно сдержан. Он был осторожен. Крайне осторожен. Целый год мы встречались и разговаривали исключительно об изобразительном искусстве, не касаясь других тем. В сети он тоже писал только о работе.

Через десять месяцев он сказал, что у него есть девушка. И все равно я продолжала ему звонить. Я была готова встречаться с ним в кафе, в галереях, где угодно. Приносила почитать свои книги и брала почитать у него. Он даже попытался прочесть «Перл». Такой чести мне еще никто не оказывал. Я решила, что это признак неподдельной заинтересованности. Хотя, возможно, эта заинтересованность относилась к поэзии, а вовсе не ко мне. Он даже процитировал пару отрывков, и с тех пор книга стала звучать для меня его голосом. А еще он вырос недалеко от Зеленой часовни. Настоящей, а не той, что у реки возле нашего дома. Может, он действительно звучал как поэт времен Гавейна.

Не сходились мы только в моей привязанности к воспоминаниям о маме. Он не понимал, почему я так зацклилась. Не любил, когда я говорила о ней. Раздражался, когда я напевала старинные песенки или махала сорокам. Он знал, что это ее привычки. Его собственная мать ушла, когда ему было восемь, но он слышать о ней ничего не хотел. Он знал, что она жива, но не желал ее видеть. Я все спрашивала о ней. Оказалось, что она живет в Маркет-Дрейтоне со своим вторым супругом и что у них конный клуб. Я сразу же представила, что моя мама живет в часе езды от меня, что так же заправляет за уши седые волосы, и прядь привычно выбивается из пучка, и вокруг глаз расцветают лучистые морщинки, когда она нежно ведет под уздцы лошадь к залитому солнцем загону. В общем, я посмотрела расписание автобусов и предложила ему вместе съездить к матери. Он посмотрел таким взглядом, будто я отвесила ему пощечину, с трудом сглотнул и сказал: «Мы говорим о моей матери. Я ей в восемь лет был не нужен, и сейчас не нужен тем более». Потом он вышел, очень тихо и печально, и когда закрылась дверь, мне почти

явно слышался легкий перестук пустых вешалок в шкафу, тридцатилетним эхом вторящий мелодии его утраты.

Ему нравились Эдвард и Джо. В доме, где хозяйство вел мужчина, ему было комфортно. В целом это вполне логично. Не доверял он только мне. Он уже решил для себя, что все женщины либо безумны, либо ненадежны, либо и то и другое. Он внимательно высматривал во мне любые признаки того, что подтвердило бы его подозрения. Чтобы быть с ним, я должна была всего лишь неустанно доказывать, что не похожа на свою мать. Но я-то была похожа. Очень тяжело кого-то любить, когда эти чувства висят на тонкой веревочке постоянно требуемых доказательств.

Мы не так долго были вместе, чтобы начать вести разговоры о совместном будущем, о семье, но с самого начала я только этого и желала. Мечтала об этом. Так страстно хотела, что была готова ждать подходящего момента. Я думала, что и он этого хочет. Он подарил Эдварду картину с хижинкой в лесу, та до сих пор висит у папы в кабинете. Он тысячу раз рисовал меня, в основном — когда я на него не смотрела. Мы даже прикидывали, что, может быть, даже съедемся, когда мой срок аренды жилья подойдет к концу.

Мы страшно напились на фуршете в день открытия выставки миниатюр, а потом еще наелись какой-то стремной дешевой пиццы по пути домой. Блевала я так, что стоило бы принять дополнительную противозачаточную таблетку и быть повнимательнее до конца цикла. Однако после года безуспешной возни с донорской спермой я не то чтобы серьезно следила за таблетками.

Примерно через неделю кто-то из его друзей взял первый приз на выставке миниатюр, и они ушли это дело отпраздновать. Потом он притащил всех в свою квартиру, где я по какой-то причине ночевала, и я как-то резко отреагировала на то, что меня разбудили, а потом еще резче — на то, что еще два часа у них гремела музыка.

С утра он заявил, что я: а) поставила его накануне в неловкое положение, потому что вела себя так, будто квартира моя, хотя я точно себя так не вела и ни за что не стала бы, если уж на то пошло, и б) они с друзьями договорились, что ни в коем случае никто из них не станет заводить детей, если это помешает заниматься творчеством. Я была слишком молода и неопытна, чтобы понимать, когда стоит промолчать, и тем более — что не надо спорить с мужчиной, страдающим

от похмелья. В какой-то момент нашей ссоры я напомнила ему, как меня тошнило после той пиццы и что я не приняла дополнительную таблетку, а он заявил, что я коварно завладела его жизнью без его согласия.

К тому времени, когда я сделала первый тест на беременность, мы все еще напряженно ходили друг вокруг друга, каждая улыбка могла в любой момент обернуться слезами, и потому сперва я ничего не сказала. А когда сказала, то вынуждена была также признаться, что знала раньше, но промолчала. Разумеется, подозрения в мой адрес только усилились.

Всю неделю я сидела у себя дома, чтобы показать, что не жду от него немедленного приглашения в совместную жизнь только из-за того, что беременна, — однако он обвинил меня в том, что я свалила, как только получила желаемое. Стоило мне заплакать, как он тут же просил уточнить — это реальные эмоции или гормоны бушуют. Готовясь стать матерью, я стала ненадежной и почти безумной. Именно этого он и боялся.

Так мы кружили вокруг да около еще три месяца, а потом у меня начались кровотечения. И он вздохнул с облегчением. И этого я вынести не смогла. Я не могла вынести то, каким довольным он выглядел. Я уехала домой и там в одиночку проплакала оставшиеся месяцы беременности, перемежающиеся кровотечениями и страхом. То есть я даже не могу его винить в том, что он меня бросил. Я ушла сама.

Может быть, после рождения Сюзанны мы и могли бы снова сойтись, но, когда он приехал навестить свою семидневную дочь, я была не в себе. Сюзанна только-только проснулась, пора было ее кормить, но я просто не могла задрать футболку и вывалить перед ним кровоточащие соски и отечный живот. Я хотела только сунуть дочь ему в руки, принять душ и причесаться. Но она уже проснулась, так что я опоздала.

Я протянула ему Сюзанну, и он сказал: «Она орет, и я не могу разглядеть ее лицо». Ему не нравилось ее имя. Во всяком случае, я боялась, что не нравится. Сам он ничего не сказал. Может, просто не хотел говорить.

Я привычно ощущала положение его тела в пространстве, расстояние между нами, и еще в этом пространстве чувствовалось

детское тельце — так явно, будто его контур очерчен красными чернилами. Вдруг в комнате потекли цвета. Потек цвет с его лица, каштановых волос, с его мягкой полосатой рубашки, с его черных джинсов и шерстяных носков с красно-оранжевыми мысками — все это стало бледнеть, тускнеть, а цвет вытекал и собирался в лужу под нашими ногами.

Я чувствовала запах этого цвета — кровь, кошачья шерсть, сырые старые пальто в шкафу. Я боялась, что он опустит взгляд и увидит, как наши цвета впитываются в ковер, почует эту вонь, поймет, что в доме кошки — со всей своей кошачьей заразой, и полузадушенными мышами, и всей этой шерстью, опасной для младенцев.

Мы стояли вдвоем посреди комнаты, смотрели на вопящего младенца, чье имя нравилось только одному из нас, и тут как раз явилась патронажная медсестра. Я видела ее силуэт за дверью. Не та, которая обещала мне принести лекарство от геморроя, а другая — шотландка, которая говорила «микробы», растягивая звук «р», чтобы страшнее звучало.

Я передала дочь Барни и направилась к двери, стараясь ступать осторожно, чтобы не расплескать цвета. Не хотелось испачкать пол. Дойдя до крошечной прихожей, я вдруг увидела, что вокруг моих ног сгрудились кошки. Естественно — я же чувствовала кошачий запах, а теперь они и сами явились.

Теперь я забеспокоилась, что кошки притащили кучу микробов. К тому же Барни ненавидит котов. Если я открою дверь этой страшной медсестре, она увидит кошек и решит, что я плохо справляюсь с материнскими обязанностями. Она и так считала, что я неправильно прикладываю малышку к груди. Я повернулась спиной к двери и попыталась отогнать кошек.

Сюзанна плакала, и от этих звуков молоко текло у меня из груди, заливая живот и собираясь лужицей у резинки домашних штанов. Я все смотрела под ноги, пытаюсь избавиться от кошек и сосредоточиться на плитках пола. Красивый узор.

Когда я сюда переехала, Барни купил специальное средство и отчистил плитку до блеска. Цвета засияли: оранжевый и кремный, и бирюзовые треугольнички. Если сильно сконцентрироваться, я могла разглядеть рисунок даже сквозь кошек. Нечетко, но кошки стали как будто полупрозрачными. Я подумала, что это какой-то фокус. Что,

может быть, кошки ненастоящие. Я знала, что настоящие кошки прозрачными не бывают в принципе.

Барни вышел с Сюзанной в прихожую.

— Мне открыть дверь? Чем тебе помочь?

— Прогони кошек, пока она их не заметила.

Он моргнул, напрягся, сглотнул. Так я поняла, что что-то не так. Но он продолжал смотреть мне в глаза.

— Разумно. Давай-ка ты иди покорми эту голодную девочку, а я открою и скажу медсестре, чтобы пришла позже.

— Попроси, чтобы пришла другая. У нее есть лекарства. — Почему-то окончание каждой фразы я произносила шепотом. Он усадил меня в кресло, отдал Сюзанну. У меня по всей футболке расплзлось мокрое пятно. Я видела, как он смущенно на него глазеет. А потом я вгляделась в его лицо и обнаружила, что оно стало ярко-оранжевым. Не как краска или загар, а как будто его изнутри подсвечивают оранжевой лампой. Я протянула к нему руку — проверить, не горит ли лицо. Но оно было прохладным.

— Марианна, милая, ты, кажется, приболела.

— Наверное.

— Я скажу медсестре, чтобы она пока ушла. И позвоню Эдварду.

— Барни?

— М?

— Спроси у нее про свое лицо. Она все-таки медик.

— Мое лицо?

— Ну да. Ты же не будешь всю жизнь теперь такой оранжевый ходить.

— А, ну да.

Он вернулся, принес сэндвич, а я переживала, что кошки притащатся вслед за ним, но их не было. Я только чувствовала их запах из прихожей. Наверное, они уже слизали с пола всю красную краску. Было ужасно интересно, что там на полу. Я даже под диван заглянула — проверить, не затекла ли краска еще и туда.

— Тебе получше?

Я не совсем поняла вопрос. Тем более что его задавал человек с оранжевым лицом. Надеюсь, это хотя бы не заразно.

— Пожалуйста, можешь прогнать кошек? Мне тут не нужны кошки. Это негигиенично.

— Я выгоню всех до единой через заднюю дверь.

— Да.

Он сказал это, и я снова подумала, что кошки ненастоящие. Так бывает, когда до тебя вдруг доходит, что ты пьян и на самом деле ковер в пабе не шевелится, несмотря на то, что ты спотыкаешься каждый раз, когда пытаешься наступить на него.

Я слышала, как он разговаривает по телефону в кухне. Слышала звуки кипящего чайника и открывающегося холодильника. Наверняка он там говорит кому-то, что я сошла с ума. И даже если полупрозрачные кошки уже ушли, то за мной придут, увидят, что я впустила в дом человека с оранжевым лицом, возможно заразным, и отнимут у меня ребенка. Я знала, что надо удирать, но малышка еще ела, а у меня не было сил, чтобы бежать, да и с кровотечением далеко не убежишь.

Эдвард приехал через полчаса и остался у меня на три недели. Он бесконечно приносил мне молоко, готовил самое вкусное овсяное печенье с патокой по маминому рецепту, давал мне ночами отоспаться, подогревая бутылочки со смесью, бесконечно загружая и разгружая стиральную машинку, встречал многочисленных медработников, любезно поил их чаем — пока из дома не исчезли и все кошки, и их запах, и никто больше не появлялся у входной двери, заглядывая снаружи в стекло.

Он был со мной, пока мои соски не зажили и не превратились в маленькие нечувствительные кожаные наросты, а Сюзанна смотрела на Эдварда, адресуя ему свои первые младенческие улыбки и обожая так, как могла бы обожать родного отца, если бы он был рядом и делал все, что делал Эдвард.

Никто не пытался забрать Сюзанну. Вот какой подарок сделал мне Эдвард — вместе с моей мамой, конечно. С тех пор, как мама исчезла из дома, Эдвард все эти годы жил с мыслью, что должен был быть внимательнее и не отходить от нее ни на шаг после рождения Джо до тех пор, пока на лестнице не перестанут селиться ангелы. Поэтому меня он не мог оставить ни на минуту.

После той первой встречи мы с Барни почти не виделись, хотя Эдвард говорит, что он еженедельно звонил и справлялся о моем самочувствии. Иногда он даже приходил и возил Сюзанну в коляске по парку, но я этого не помню. Зато я помню, с каким лицом он иногда

забирал Сюзанну на целый день, когда ей исполнилось полтора года. Он выглядел смущенным, будто бы это он сам сошел с ума, будто ему неловко все это видеть.

Время от времени он приносил какие-то вещи своих подросших племянников или самодельные мобили на кроватку. Когда Сюзанне исполнилось два года, он однажды целое утро ее фотографировал, причем вышло весьма неплохо. Он не очень хорошо справляется с днями рождения и Рождеством, но зато часто делает приятные сюрпризы просто так. То принес искрящийся самокат, то практически новое ярко-желтое пальто, то поваренную книгу. Была еще целая коробка лего из коммиссионки, где среди строительных деталек, как клад, пряталась целая горсть фигурок-зверят Семейки Сильваниан.

Он до сих пор не может смотреть мне в глаза, но зато любит свою дочь. Сейчас Барни живет во Франции, но постоянно поддерживает с ней связь. Наверняка бы и деньгами помогал, если бы они у него были. Больно видеть, как сильно он ее любит. Как удобно она устраивается в его объятиях, как они с удовольствием слушают вместе музыку и смеются над одними и теми же шутками. Как все это могло бы сделать жизнь каждого из нас лучше.

Но не сделало. И никогда не сделает. Потому что на Сюзанне он учился тому, как не потерять дочь. И когда у него родилась вторая, от другой матери, он уже умел быть рядом и игнорировать временное чувство отчуждения, вызванное гормональным всплеском.

Каким-то странным образом я оказалась по всем фронтам права. Я все время искала самого невероятного везения. Есть всего один шанс на миллион, что кто-то подбросит в телефонную будку младенца всего за минуту до того, как я пройду мимо. Что именно я его обнаружу. Что ребенок не успеет замерзнуть или пострадать. Я как будто все время покупала лотерейные билеты. Но в моем случае фортуна повернулась ко мне лицом в единственном идеальном броске игральной кости. В одной шестерке. В моей прекрасной дочери. Все думали, что я назову ее в честь моей мамы, но я не хотела таких очевидных параллелей, потому дала ей имя Сюзанна Перл.

17

Знак выхода

17



Знак выхода



*Вот тебе свеча,
Чтоб спальню осветить,
А вот тебе палач,
Чтоб голову срубить.*

В прошлом году мой домовладелец решил немножко обновить все свои дома, потому в зданиях на нашей улице появились новые пластиковые окна и распределительные щитки, а вслед за ними — повышение арендной платы. Новый щиток — штука нежная. Ему не особо нравится стиральная машинка. Ему не нравится даже одна капелька воды под электрочайником, а еще нельзя одновременно

включать чайник и тостер. Он так часто вырубает электричество, что в шкафу под лестницей у меня теперь постоянно лежит фонарик, чтобы подсвечивать себе путь, когда я в потемках иду включать рубильник. Я пожаловалась арендодателю, и он сказал: «Ну то есть все работает? Видите, как я позаботился о вашей безопасности?» И ни слова о том, что всю замену электрики делал кто-то из его ушлых двоюродных братьев.

У меня тоже довольно нежный внутренний распределительный щиток. Переключает из реальности в галлюцинации за один удар сердца. Однажды мне лечили зубы под новокаином, и мне показалось, что мои ноги вдруг выросли до таких размеров, что торчат из кабинета на улицу. Похоже, это наследственное. Думаю, у мамы было то же самое. Рубильник срабатывает примерно по одним и тем же причинам: нехватка сна, высокая температура, испуг, в том числе внезапный, шок, стресс. Недосып — на первом месте. А ведь тогда, в феврале, мама как раз родила Джо. Лучшей причины для недосыпа и не найти.

У каждого человека иногда выключается рубильник. В таком состоянии информация, поступающая от органов чувств, не может считаться достоверной. Мы видим, слышим, обоняем и осязаем то, чего нет. В итоге мозг просто перегружается, пытаюсь самыми витиеватыми способами объяснить этот поток странных данных со всех сторон.

За свой рубильник мне уже не так стыдно, поскольку теперь я знаю, что у всех иногда выбивает пробки. Пусть даже в моем случае система работает чуть хуже, чем у остальных. Но этот предохранитель — не самый ненадежный узел моей конструкции. С этим еще можно жить. А вот с чем у меня проблемы, так это со знаком «выход».

Можно подумать, что я — последний человек, который будет искать легкий выход, особенно с учетом того, что я на себе прочувствовала, что значит быть оставленной. Однако я как раз в группе риска. Когда кто-то близкий входит в воду и не возвращается, остальные запоминают эту опцию. Она как будто зажигает в нашей голове знак, подобный тому, который горит обычно возле пожарного выхода или в гостиничном коридоре, ведет до следующей двери, потом до следующей, и никогда не гаснет, даже если вырубается основной источник электроэнергии.

И как только этот знак вспыхивает в голове впервые, выключить его почти невозможно. Я спорила с этим знаком. Я его игнорировала. Я толкала вперед эти неподатливые двери пожарного выхода, чтобы обнаружить за ними коридор, маняще подсвеченный синими огоньками вдоль плинтуса, и разворачивалась обратно, туда, откуда пришла. Иногда мне даже казалось, что любой другой путь более труден, извилист и непонятен. Иногда я думала, что единственный выход — это тот подсвеченный коридор с горящим указателем.

Я научилась уходить оттуда, невероятными усилиями нащупывая в темноте обратный путь, изо всех сил прислушиваясь к подсказкам, которые приведут меня в безопасное место. Когда родилась Сюзанна, я дала себе обещание отворачиваться от этого знака, едва завидев его, и идти туда, где более безопасно, где я могу видеть ее, слышать и обнимать. Но даже тогда знак не погас. Я просто смогла с ним договориться.

Отчасти из-за этого табло «выход» я никогда ничего не довожу до конца. Например, эти записи. Не знаю, сколько раз я уже все это писала, переписывала, сколько вариантов у меня скопилось, где эти кучи файлов, дискет и бумажных папок с уже проржавевшими и рассыпающимися скрепками. Если я скажу, что у меня есть как минимум три рукописи, в которых о Сюзанне еще даже речи не идет, а она на данный момент уже подросток, то вы вполне сможете представить, о каких объемах текста идет речь.

Я приезжала на Бдения, гуляла с собакой вдоль реки, собирала камыш, смотрела, как перестраивают наш старый дом, восхищалась приведенным в порядок садом и думала, что пора бы заканчивать свою писанину. Потом собака умерла, родилась Сюзанна, у нас появилась другая собака, я носила дочь в слинге или водила за ручку, собака скакала рядом по тому же берегу реки, а я гадала, куда же дела предыдущий черновик и как мне в конце концов закончить рукопись.

А по возвращении домой я либо забывала о ней, либо вспоминала о ней, причем ни то, ни другое меня не устраивало. Что будет бóльшим предательством: закончить рукопись, как будто она может вместить всю правду о моей удивительной маме и обо всем, что она для меня значила, либо бросить на середине, будто бы мне все равно?

Поначалу я говорила, что пишу для Джо. Это звучало благородно, как будто я хочу сохранить для него память о маме, поскольку он

не помнил ни ее, ни даже место, где родился. Правда, в итоге мне стало казаться, что я поступаю жестоко, перечисляя все, чего он был лишен, и рассказывая, что после ее исчезновения мы жили так, будто бы всё это предали.

У него есть несколько фотографий, которые мы с Эдвардом для него сохранили, так что он знает, как мама выглядела. Более-менее. Она терпеть не могла фотографироваться.

На одном фото она сидит под деревом в саду. Ее почти не видно, и тень от дерева падает на лицо. На другой фотографии она на диване со мной и новорожденным Джо. Она смотрит на меня и смеется, мы сидим нос к носу — одинаковые носы, одинаковые подбородки, одинаково собранные волосы. Джо похож на красный пузырь в белом комбинезончике. Интересно, над чем мы смеялись? Я не помню, как делали этот снимок. Даже диван не помню.

Я запретила себе поступать так, как моя мама, пока не запишу все, что смогу о ней вспомнить. Правда, это было еще до рождения Сюзанны, после которого пришлось внести в соглашение поправку, согласно которой я обязана была дожидаться восемнадцатилетия дочери, прежде чем решиться уйти и никогда не вернуться.

Я прикинула, что восемнадцать лет — уже достаточно взрослый возраст. Я-то жила без мамы уже с восьми, так что восемнадцать — по моим меркам — это довольно много. Однако затем я поняла, что после рождения собственной дочери стала скучать по маме еще сильнее, чем прежде, так что вынуждена была пересмотреть свое решение. Может быть, когда Сюзанна родит, я тоже буду ей нужна? Возможно, для меня еще найдется занятие.

Так что все черновики, которые я писала как бы для Джо, перекинула на чердак, на корм мышам. Потом я открыла для себя текстовые редакторы, а вместе с ними — уйму новых способов загубить написанное. Дешевые ноутбуки — идеальные компаньоны для любителей жечь рукописи.

А вдруг на этот раз я закончу текст? Мне что же — придется заново торговаться с этим указателем выхода? Или на последней странице меня поджидает дьявол — со сложенными на груди руками, с триумфальной ухмылочкой? Мол, наконец-то. Дописала свое прощальное письмо. Долго я тебя ждал. Тридцать лет ты оттягивала момент, когда вдруг поднимешь голову от бумажных куколок, которых

вырезала за кухонным столом, и поймешь, что что-то не так, и выбежишь через заднюю зверь, напрямик к реке, по следам своей матери.

Отмазки закончились. Сдай работу и выйди из класса. Дополнительное время истекло, а теперь дежурные выключат свет, уберут парты и запрут все двери, кроме одной. Той, над которой горит табло «выход».

Я винила маму в том, что она поверила этому знаку и что в итоге я ни во что не ставила ценность собственного существования. Мне было стыдно, что меня одной оказалось недостаточно, чтобы она захотела остаться, что она отказалась слушать и мой голос, и Эдварда, и Джо. Но это было до того, как я узнала о Джонатане. Смогла бы я договариваться со знаком «выход», если бы по ту сторону двери звучал голос моего ребенка? Вряд ли.

Если ты мать, то всегда будешь во всем виновата. Теперь и я это знаю. Слишком долго рожала, слишком быстро родила, недокормила, перекормила, носила на руках, не носила, подталкивала вперед, придерживала, перелюбила, недолюбила — тебя все равно будут обвинять просто потому, что это твои дети. Ты их рожаешь, нагружая собственным сомнительным генетическим багажом, и отправляешь в мир разбираться с персональным набором часовых бомб.

К тому же есть еще разные внешние обстоятельства. Например, бедность — фактор риска, причем для любых заболеваний. И Сюзанна об этом знала. Она знала, что, заполняя анкеты перед школьными поездками, я всегда ставила галочку в графе, касающейся частичной компенсации стоимости. Она знала, что школьные обеды оплачиваются не из родительского кармана, а благодаря заявкам от школьного секретаря. Школьную форму мы покупали с рук. У нее были обычные ботинки, без фигурных подошв и прячущихся в каблучках куколок, как у богатеньких девочек. Мне казалось, это не имеет значения. Мне даже в голову не приходило, что такие вещи могут спровоцировать расстройство.

Переезд — тоже фактор риска. Если ты каждый раз заключаешь договор аренды всего на год, то переезд становится нормой жизни. С пяти до восьми лет Сюзанна ни в одном доме не жила настолько долго, чтобы мы развешивали там фотографии и рисунки. Не то чтобы мне это нравилось, но и бороться с таким положением вещей

я не стремилась. Каждый раз, когда надо было переезжать, Сюзанна устраивала недельную акцию протеста, но в остальное время не говорила ни слова. Однако хоть говорила, хоть не говорила — факт остается фактом и занимает свое место в списке потенциальных причин ментальных расстройств.

Неполная семья — тоже в этом списке. Дети становятся тревожными. Они примеряют на себя роль взрослого. Они берут на себя ответственность за своего единственного родителя. У них нет ощущения безопасности. Кто виноват? Я. Это я никогда не предлагала ей относиться к отцу как к равноценной альтернативе мне, как к достойному плану Б. Я вообще никогда особо не поощряла ее встречи с ним.

Чувство вины за чью-то болезнь вообще не помогает, когда надо сохранять самообладание, терпеливо разговаривать с медиками, когда надо не расплакаться, пока висишь в телефонной очереди, чтобы узнать, на каких условиях банк выдает долгосрочный кредит, и в это время на телефоне заканчиваются деньги. Из-за чувства вины ты становишься дерганым, раздражительным, неадекватным и слабым. Ни одно из этих качеств не входит в список необходимых для успешного родительства.

Нормальные родители — организованные люди, которые легко встают по утрам, следят за расписанием, внешкольными кружками и графиком платежей. Они носят практичную обувь. У них всегда с собой есть что-нибудь перекусить. Нормальные родители никогда не забывают подписывать перманентным маркером школьные вещи своих детей. Они вовремя пишут заявления на кружок по скрипке в следующем семестре. И они точно не подвозят детей к школе с опозданием на час, с бананом в кармане на завтрак.

Нормальные родители — это такие персонажи из книжки пятидесятых годов, с которыми в комплекте обычно идет полный набор бабушек и дедушек с курительной трубкой, цветником в саду и сказками на ночь. Разве я думала о том, что на мою дочь может повлиять сам факт исчезнувшей и, вероятно, умершей бабушки? Остановилась ли я хоть раз, чтобы представить, что надлом в моей семье, та расщелина в моем сердце будет передаваться из поколения в поколение, через мою собственную травму, если не хуже?

Нет. Ни разу. Это просто не приходило мне в голову. Мне казалось, что, когда родится дочь, она исцелит мое сердце. Я не делала пауз, чтобы спросить, не слишком ли многого я от нее требую. Я не делала пауз, чтобы задуматься, что передаю ей вместе со своим молоком: боль, тревогу, скорбь. Я помню, как кормила ее и в это время все искала глазами свою маму, рыдая так, как не рыдала годами: мои слезы капали малышке на макушку, и я даже не задумывалась о том, что они могут оставить след. Я думала, что они исчезнут — так же легко и просто, как я стирала их одним движением ладони.

В психотерапии есть одно упражнение. Тебе разрешается обвинять кого угодно в чем угодно. Я попробовала его на себе — пыталась во всяком случае. Кого я виню в исчезновении моей мамы? В первую очередь, ее саму. Потом папу — уж он-то должен был догадываться, а сам ушел на работу. Миссис Уинн — как она могла не заметить, что мама уходит? Саму себя — надо было не фигурки из бумаги вырезать, а следить за каждым ее движением. Джо — он спал весь день. Акушерку — та не соизволила добраться до нашего дома по грязной дороге и заставить маму заполнить опросник для выявления послеродовой депрессии (если о ней тогда вообще знали). Педиатра — за три дня до того мама приходила взвешивать Джо, и врач не заметил ничего необычного. Моего брата Джонатана, который не сделал ни единого вдоха.

А на самом деле никто из них не виноват. Я толком даже не понимаю, в чем смысл упражнения с обвинениями всех и вся. Мне оно не понравилось. Какой от него толк? Что, если винить вообще некого? Мне ближе понятие «происшествие». Или, как в официальной формулировке, «несчастный случай». Смерть в результате несчастного случая. Мне нравится слово «случай». Оно ей подходит. Жизнь моей мамы полна интересных случаев. Просто последний оказался несчастным.

18

Арт-терапия

18



Арт-терапия



*Вот котлетка размером с орех —
Хватит нам ее на всех.
Возьмем молока и муки найдем —
И оладьи испечем.*

Нам с Эдвардом плохо удавалось ставить себе в заслугу что-то хорошее. Мы не смогли сохранить ей жизнь — так какая разница, что у меня есть диплом или что папа теперь завкафедрой? Но ведь это важно. Я очень долго шла к осознанию этой важности. Я до сих пор пытаюсь научиться жить с этим осознанием, балансировать между любовью к своей работе и ощущением того, что я ее не достойна.

Я занимаюсь арт-терапией: это означает, что я регулярно выставляю полукругом мольберты в специально отведенных для этого местах и предлагаю людям на полдня погрузиться в деятельность, не связанную с их постоянным стрессом и упадком, а в конце занятия забрать результат с собой.

Мне платят тридцать фунтов в час плюс компенсируют расходы на дорогу и материалы, и это помогает нам неплохо держаться на плаву во время учебного года. На каникулах я подрабатываю в кафе в конце нашей улицы, а Сюзанна проводит много времени с Эдвардом. Платят очень мало, чаевые хозяин забирает себе, зато у меня бесплатный обед, а еще я могу брать домой остатки хлеба и иногда — продукты с истекающим сроком годности.

И там, и там мне приходится вести себя нарочито бодро и радостно, постоянно слушать печальные истории и быть внимательной к людям, следя за любыми признаками накрывающей их тоски. И там, и там я чаще убираю за людьми, чем непосредственно с ними общаюсь, причем на обеих работах делать уборку приходится уже после окончания оплачиваемого рабочего времени.

В кафе и на благотворительных курсах для пожилых людей я слышу примерно одно и то же количество мрачных историй об отчаянии и одиночестве. Мне рассказывали, как случайный, неумышленно нанесенный вред заканчивался долгим тюремным заключением. Как борьба за опеку над детьми при разводе обходилась в такую сумму, что один из родителей оставался бездомным. Были старики, которые признавались, что специально разбивают заказ в аптеке на несколько разных доставок, чтобы лишний раз прийти туда и постоять в очереди, где с ними кто-то поздоровается и назовет по имени. Другие нарочно заводили будильник к приходу молочника, чтобы встретить его у двери и просто сказать «здравствуйте».

Мое любимое место работы — это психоневрологический центр дневного пребывания в новостройках. Было — до прошлого года. У Сюзанны всю ночь держалась высокая температура, так что в школу она не пошла. Я проспала будильник, и когда позвонила Эдварду попросить его посидеть с ней, он уже уехал на работу. К кому еще я могла обратиться?

Если бы мне хватило ума, я бы тут же позвонила на работу и сказала, что заболела. Но я продолжала надеяться, что приеду,

представляя себе своих подопечных, уже садящихся в такси, или пешком обходящих центр города по широкой дуге, потому что им страшно находиться в толпе, или заталкивающих свои унылые сумки-тележки в автобус, где никто не хочет садиться с ними рядом, поскольку они странно выглядят и неприятно пахнут сырими съемными комнатами, где просиживают дни напролет в ожидании льготного жилья с сопровождением.

Потому я позвонила Кэрри. Кэрри мне нравится. Она живет на нашей улице, снимает жилье у того же хозяина, потому что во всей округе только он заселяет родителей-одиночек без постоянного места работы и с домашними животными. У Кэрри четыре сына и три собаки. У нее в доме всегда шумно, там пахнет собаками и травкой старшего сына, но за пределами дома она сама всегда пахнет чистой одеждой, грушевыми леденцами и травянистым гелем для волос. Она целыми днями слушает местное радио и верит в бесчисленные теории заговоров, вычитанные в Фейсбуке. А еще она смелая, умеет любить и страшно гордится своими сыновьями.

Она все говорит, что хочет еще и дочь и что будет рожать, пока не получится девочка. Каждый раз, заходя к нам, она предлагает Сюзанне сделать прическу или накрасить ногти, но Сюзанна не соглашается. Она терпеть ее не может. Думаю, дело в том, что у сыновей Кэрри вечно столько проблем в школе, что Сюзанна как будто боится, что учителя обнаружат даже косвенную ее связь с ними — например, они позовут ее по имени в школьном дворе или еще каким-то образом дадут понять, что знакомы с ней.

А больше всего Сюзанну бесит, что у нас с Кэрри много общего. Что мне нравится признавать эту общность, нравится вместе выкуривать сигаретку у Кэрри на заднем дворе или весь вечер поить ее сладким чаем, пока она ждет возвращения старшего сына из полиции. Дело даже не в сходстве, да и не во взаимной выгоде. Просто Кэрри мне нравится. Меня восхищает ее свежий вид и идеальный макияж по утрам, ее лихие майки и подчеркнута узкие джинсы, ее мускулистые руки, которые говорят о том, что она может принести домой целый ящик консервов и не тратить на проезд деньги, сэкономленные благодаря магазинной скидке.

Однажды в субботу, у меня, мы с Кэрри слегка поднабрались. Ее сыновья громко слушали музыку на всю улицу, и тут Сюзанна

спустилась к нам из своей комнаты и заявила:

— Когда я вырасту, у меня будет нормальная семья — в которой оба родителя живут вместе с детьми!

Кэрри прыснула и обрызгала вином любимую подушку Сюзанны, в форме котика. А я ответила:

— Удачи тебе в этом. Действительно, почему бы и нет?

И начала пьяно хихикать. Сюзанна забрала у нас подушку-котика и унесла ее в кухню чистить, а потом снова потопала наверх, отнести подушку в сушилку.

Несмотря на всю свою любовь к фейсбучным заговорам и шарлатанским гороскопам, Кэрри человек жесткий. Помню, я как-то принесла ей банку джема, который сварила из собранного в лесополосе терна, и она сперва сказала, что джем горчит, а потом добавила, что сахара я на него потратила больше, чем стоит магазинный джем, плюс расходы на бензин, потому что эти плоды еще нужно привезти, плюс стоимость непосредственно готовки. Когда я сказала, что мне просто понравилось сперва собирать терн, а потом варить джем, она сказала: «Оно-то понравилось, но это СТАРЧЕСКИЕ радости, Маз!» Она вообще многие мои увлечения считала старческими — от домашнего йогурта до лоскутных одеял.

Однако при всей своей резкости она добросердечная. Все три ее ужасные храпящие собаки с мощными челюстями жили на цепи до того, как оказались у Кэрри. Одна жила в погребе паба, вторая — под железнодорожным мостом, третью она нашла прямо во дворе дома, когда переехала сюда, — собака была связана бельевой веревкой.

Мне не хватало смелости разбудить больную Сюзанну и сообщить, кто за ней сегодня присмотрит. Я свалила, убеждая себя, что просто не хочу нарушать ее сон. Крутила в голове слова консультанта, который объяснял, что нехватка сна представляет опасность. Что если она не спит, то надо обращаться за помощью. Так что Кэрри тихонько сидела в кухне, собираясь красить ногти, настраивая радио на нужную ей волну, просматривая вчерашний номер «Гардиан» на странице гороскопов, и тут я все-таки разбудила Сюзанну, случайно врезавшись в дверь велосипедом, который выкатывала на улицу.

Она слетела вниз по лестнице, как исполненный ярости призрак: белая ночная сорочка развевается, волосы отливают медью в свете

лампы, в воздух поднимается облако яда и вирусных частиц и сгущается над моей головой.

Я уже однозначно должна была ехать на работу. Во-первых, звонить и притворяться больной было уже поздно, а во-вторых, я хотела поскорее убраться из дома. Я хотела изо всех сил крутить педали и на полной скорости мчаться сквозь бензиновую вонь шоссе к пешеходному мосту, а потом на другой конец города, к новостройкам, где на пожертвования застройщиков построили тот самый центр дневного пребывания. Если ехать достаточно быстро, с меня сдует все то, что я услышала от Сюзанны. Но такую скорость я развить не могла.

Каждый ребенок владеет искусством такого подбора слов, которое позволяет устроить родителям эмоциональное короткое замыкание, переходящее в приступ ярости. Для меня это фраза «Ты можешь быть нормальной матерью?!» В данном случае прозвучало: «Ты можешь быть нормальной матерью и остаться со мной дома, когда я болею?» Всплеск адреналина — мгновенный. Зверю до белых глаз. Я так свирепо крутила педали, что ухитрилась успеть вовремя, как раз к утреннему занятию, улыбнуться всем и сказать: «Сегодня мы будем рисовать сад по фотографиям. Попробуем разные оттенки зелени». Потом я посчитала, сколько человек пришло, расставила мольберты, включая один дополнительный для Жанин, которая всегда опаздывает.

А потом, пробившись сквозь завесу злости, в голове всплыли и другие слова, сказанные Сюзанной. «Ты хоть раз поинтересовалась, как я себя чувствую?» и «Боже, бедненькая, твоя доченька такая ненормальная, что не может ходить в школу, даже когда утверждает, что она в порядке, бедная-бедная ты, это же не ты сумасшедшая, да? Это же не ты у нас сидишь на идиотских секретных диетах, про которые знают все вокруг? Не ты вечно прикрываешь руки?»

Несколько учеников ушли в кухню готовить для всех обед, остальные сдвинули столы, чтобы освободить место для занятий, я расставила по мольбертам полотна с разметкой для будущих рисунков, выдавила краски на старые тарелки, служившие палитрами. Добавила к рисунку фон в виде кирпичной стены, яркую дверь. Перед дверью можно было изобразить резную скамейку. Еще я подготовила наброски кошачьих фигурок — вдруг кто захочет изобразить кошку на скамейке или под ней.

Большинство учеников приступили к работе. Только Большая Шейла все бродила от мольберта к мольберту, приговаривая: «Вашу ж мамашу, это ж зашибись как охренительно красиво!», каждый раз кладя штрафной камешек в коробку для ругательств. Тихая жена викария, как обычно, шлепала цветные пятна краски поверх моей разметки в своем молчаливом протесте.

Потом я начала показывать, как, пользуясь разметкой, нарисовать открытую калитку вместо закрытой — если кто пожелает. И тут вспомнила, как Сюзанна сказала: «Иди-иди. Только потом не удивляйся, если меня к твоему возвращению здесь не будет. Не надейся, что я буду спокойно сидеть там, где ты меня оставила». Я провела две линии в прямоугольнике калитки, наметила тень открывшейся двери, и вдруг увидела, как Сюзанна двигает щеколду на давно несуществующей калитке в конце нашего старого сада, разматывает кусок оранжевой веревки, которая не давала дверце открываться, и выходит на тропинку, ведущую к реке. Я увидела, как на моем рисунке красной вспышкой мелькнул ее плащ, услышала ее хихиканье и шум речных вод впереди нее.

Меня затрясло, затошнило. Я не понимала, где нахожусь, я знала только, что отсюда надо бежать, что надо ее найти, пока не стало слишком поздно. Скорее всего, я заорала и заплакала. Этого я уже не помню. И еще я звала ее «Маргарет», именем мамы, причем это странно, потому что маму я всегда называла просто мамочкой.

Все присутствующие умели распознавать паническую атаку, поэтому совершенно невозмутимо вызвали мне такси и отправили домой, где Сюзанна уже успела милостиво принять из рук Кэрри жаропонижающее и сладкий чай и теперь готовилась к маникюру, сидя у кухонного стола, завернувшись в мой халат, со спящей собакой в ногах.

На следующий день я вернулась забрать краски и велосипед. Меня, конечно же, отстранили от работы. Хорошие люди, но им нужен был арт-терапевт, а не еще одна пациентка. Некоторые ученики расстроились. Мне с собой выдали целую сумку еды, потому что я плакала и трагически жаловалась в стиле «что теперь с нами будет?»

А стало вот что: Эдвард помогал платить за квартиру, пока в кафе не добавилось смен, а центр дневного пребывания не прошел все

круги собеседований по поводу оценки потенциальных рисков, чтобы принять меня обратно на работу. Длилось это все девять месяцев.

Только тогда я впервые задумалась о карьере Эдварда. Как ему удалось не потерять работу, когда я отказывалась ходить в школу? Как он ухитрялся успевать возить меня на все занятия в коррекционную школу и на группы и при этом следить за экземой Джо и ездить с ним к дерматологу в Ливерпуле? Как он это делал?

Я вспоминала наши ужины из слегка подгоревших рыбных палочек на сэндвичевом хлебе, с апельсинами на десерт, и подумала: какой молодец. Белок, углеводы, витамин С. Ну и пусть на следующий день мы ели то же самое. Я представила, как он сидит в машине, ждет Джо с футбольной тренировки, проверяет студенческие работы, складывая их в большую коробку на пассажирском сиденье. Или как он сидит в хлорированном тумане на зрительских рядах, пока я плаваю в бассейне, просматривает кучу заявлений от студентов и убеждает меня, что видел, как я нырнула и достала со дна черный кубик.

В то время, как другие отцы вообще едва ли занимались своими детьми, мой таскал меня по всем специалистам и встречам, следил за каждым моим приемом пищи, при этом ухитряясь заниматься работой и заботиться о моем младшем брате. А ведь я могла почаще помогать ему присматривать за Джо. Я была уже достаточно взрослой, чтобы приносить разнообразную пользу. Однако лет до семнадцати я была практически бесполезной.

Не помню, чтобы он хоть раз жаловался. В основном мне помнится, как он стоял у дверей очередного кабинета и звонил на кафедру с просьбой что-то подвинуть в расписании, потому что боится опоздать из-за того, что задерживается мой терапевт.

Максимум, что я от него слышала по этому поводу, — это совет: «Делай все возможное, чтобы удержаться на своей работе. Это поможет тебе не свихнуться в итоге». В итоге. То есть в такой момент, когда у тебя уже так крыша едет, что сам не понимаешь, что делаешь. В итоге. В итоге ты будешь радоваться, что у тебя есть работа.

Можно было бы подумать, что обилие восторженных студенток и молодых сотрудниц, прошедших через кафедру за все эти годы, могло ввести его в соблазнительные помыслы о новой «женщине в доме», которая помогла бы справляться с нами, но это не так. Если у него и были девушки, то мы о них ничего не знали. Да в целом у него

и времени на это не было. Большинство родителей-одиночек свободны по выходным — ходят на свидания, видятся с кем-то. Но это возможно, только когда есть второй родитель, который забирает на это время детей.

Не думаю, что Джо когда-нибудь съедет от папы, пусть даже этот дом не идеально подходит, чтобы привести туда девушку. К Джо приходят друзья обоих полов, и сложно сказать, кто из девушек с ним встречается, а кто — просто подруга. Джо даже университет выбрал ближайший к дому. Говорит, что решил сэкономить и никуда не уезжать. И еще не хотел бросать свою коллекцию старых раздолбанных мотоциклов.

И потом, их дом в любом случае был похож на студенческое общежитие — они жили как два эксцентричных холостяка, с приклеенным к кухонному шкафу меню на неделю и странным распорядком генеральных уборок каждые две недели на основе сложной балльной системы, понятной только им одним.

Джо унаследовал инженерный талант деда Мэтью и занял почти весь сад какими-то нависающими друг над другом деревянными сарайчиками, пристроенными к большому кирпичному сараю. У него были сарайчики для велосипедов и серфа, для запчастей, и даже какая-то пластиковая халупа с надписью «РАЗН.» на стене. Он получил диплом по специальности «промежуточная технология», о существовании которой мало кто подозревает; ее задача состоит в том, чтобы технологии работали даже в таких местах, где ресурсы и техника либо отсутствуют, либо крайне ненадежны.

Под лестницей он поставил динамо-велосипед, так что если нужно принять горячий душ с нормальным напором, а электрический водонагреватель включать не хочется, то можно просто попросить кого-то посидеть в холле и покрутить педали. Правда, им ни разу не пользовались. Велосипед ставился в рамках какого-то проекта, но разбирать его не хочет ни Джо, ни Эдвард. На крыше гаража у Джо смонтированы солнечные панели минимум трех типов. Кровать-чердак, на которой он спал до тринадцати лет, теперь переделана в высокую грядку для овощей с целой системой автоматического полива, выведенной из септика. Грядки эта практически перекрывает свет со стороны кухонного окна.

Еще он держит в саду кур, превратив лужайку перед домом в скользкое пятно зеленой грязи. Куры не так чтобы на свободном выпасе, однако они сами об этом не знают, поэтому регулярно отправляются погулять по чужим опрятным садикам на нашей улице. Самое печальное, что, если бы мы остались в старом доме, Джо обожал бы его. Когда он несет домой пару сбежавших кур, по одной в каждой руке, Эдвард часто говорит: «Весь в мать».

Это он маминых кур вспоминает. Завуалированно. Потому что они в списке вещей, о которых мы не разговариваем. Обычно она держала по шесть кур, маленьких черных бентамок с алыми пушистыми хохолками и черными мохнатыми ножками; они несли маленькие пестрые яйца. Куры исчезали, на их месте появлялись новые, но им всегда давали одни и те же имена.

Первых трех курочек звали Элси, Лейси и Тилли в честь живших на дне сиропного колодца сестер из «Алисы в Стране чудес», а остальных называли Элси Вторая, Лейси Вторая и Тилли Вторая, чтобы эти новые курочки не обижались, что первым достались лучшие имена.

Они жили у мамы довольно долго. В сумерках она загоняла их в курятник, до того, как лисы выйдут на охоту, и пересчитывала, называя по именам, прежде чем запереть на ночь. Она носила им объедки. Меня никогда не заставляли доедать то, что мне не нравилось, — все, что оставалось на тарелке, отправлялось курам.

Когда мама выходила в сад, куры бежали к ней в надежде на горстку кукурузных зерен, которые мама неизменно носила в кармане. Она шла по саду, а за ней двигалась извилистая тень бентамок, семенящих возле мамы длинным пернатым паровозиком.

Они ненадолго ее пережили. На неделю или две. Видимо, старый лис, карауливший их годами, решил не упускать свой шанс. Несколько раз мы теряли ощущение времени и не успевали загнать кур до наступления ночи, и потому приходилось вручную снимать их с деревьев, где они самостоятельно устраивались на ночлег. Однажды мы совсем припозднились, и когда Джо наконец уснул, а мы с Эдвардом вышли с фонариком во двор, все куры уже были мертвы.

Первая лежала на тропинке за домом, буквально в паре шагов от задней двери, и мне сперва показалось, что это дохлая ворона, потому что у курочки была оторвана голова вместе с алым хохолком

и на земле валялась только абсолютно черная тушка. Вторую мы нашли чуть подалее — она торчала из зарослей лунника, вокруг были разбросаны ее вырванные перья, и казалось, что на печальных желтых куриных лапках надеты черные дырявые полуспущенные носки. У нее была сломана шея, и голова болталась на тонкой кровавой жилке.

Эдвард сказал: «Марианна, иди в дом, ничего хорошего мы тут уже не увидим», но я упрямо следовала за ним к курятнику — мимо еще двух куриных трупиков, чтобы обнаружить останки последних двух курочек расшвырянными вокруг окровавленного насеста.

Мы вырыли им могилку под яблоней, причем копать пришлось довольно долго. Яма нужна большая, к тому же рано или поздно натыкаешься на корни. Нам пришлось повесить на ветку фонарик, чтобы не копать вслепую. Когда мы в первый раз уложили курочек в яму, оказалось, что лежат они вровень с поверхностью.

Эдвард сказал: «Так не пойдет, их нужно зарыть поглубже». Мы ничего не обсуждали и не комментировали, кроме размеров ямы. Время от времени он отправлял меня в дом, проверить, спит ли Джо.

Я копала изо всех сил, и мы оба натерли жуткие мозоли. Интересно, когда мы нашли мертвых кур, он тоже подумал, как и я: что мы ей скажем, когда она вернется? А потом, уже когда мы копали яму, пришла другая, совершенно жуткая мысль: а если она не вернется, то и не узнает, что мы натворили.

Примерно четырнадцать лет спустя, когда Джо учился в школе, он вырастил и принес домой целый выводок инкубаторных цыплят. Я спросила, как их зовут.

— Пок, — ответил Джо. — Их всех зовут Пок. Я их спросил, и они все потребовали одно и то же имя.

Эдвард спросил, где Джо намерен держать своих цыплят, и тот ответил:

— Они еще слишком маленькие, чтобы выпускать их в сад, так что пока пусть поживут тут, на кухне, в этой коробке, а я им сделаю курятник из кое-какого барахла, я тут на свалке нашел.

Он постоянно находил на свалке кое-какое барахло. На этот раз барахло оказалось сервантом годов примерно пятидесятых — коричневым, на толстых шишковатых ножках. Он прикрутил к серванту металлический поддон, чтобы не пробрались лисы, покрыл

влагозащитным лаком и смастерил крышу из кровельного картона. Курятник прожил почти год, а потом Джо нашел на другой свалке кое-какое барахло получше и доработал конструкцию.

Однажды мы с Эдвардом стояли и наблюдали, как Джо прилаживает небольшой ветряк на крышу гаража, и Эдвард вдруг сказал: «Интересно, если бы мы остались жить в деревне, он бы из чувства противоречия в компьютер играл днями напролет?» Эдвард говорит такие вещи без печали в голосе. Он вообще не бывает печальным, когда смотрит на Джо. Он смотрит на Джо так, будто от него исходят лучи света. Может быть, так и есть.

19

Пара железных башмаков

19



Пара железных башмаков



*Я в зеленый сад пошла
И монетку там нашла.
Маме в сумку положила —
Мама братика купила.
Братик ныл, а я взяла
И его в булке запекла.
Вышло так невкусно —
Чтоб мне было пусто!
Булка — прочь, за забор улетай!*

А ты никогда не умирай!

Раньше я фантазировала о нашем возвращении в старый дом. Например, как будто новые хозяева однажды утром просыпаются и понимают, что подписали не все документы, а в завещании деда Мэтью есть примечание мелким шрифтом, согласно которому никто другой не имеет права там жить, или что, например, каждый раз, когда они подъезжают к дому, в дымоход бьет молния, и так до тех пор, пока они не поймут, что это знак, и не уберутся оттуда насовсем.

Или, например, они как-нибудь вернутся домой с работы, а дом элегантно проплывет мимо них, уносимый грязным речным потоком, прощально помахивая развевающимися занавесками, потому что он решил отправиться на поиски своих прежних, настоящих хозяев. Такие вот детские фантазии, для которых я даже тогда была уже слишком взрослая.

Все эти годы, пока дом стоял в напрасном ожидании покупателей, вокруг него велись долгие взрослые разговоры о процентных ставках, о совместном доступе и о том, что называется цепочкой. Постоянно кто-то спрашивал, в цепочке ли они. Я довольно смутно представляла, что это может быть за цепочка и как эти люди в нее попали, но любой ребенок знает, что быть в цепочке — плохо.

С теми, кто купил в итоге дом, никаких цепей не было. Меня это порадовало. Я не хотела, чтобы кто-то таскал свои кандалы по холодному каменному полу, трагически лязгал ими по деревянной лестнице и разносил металлический привкус печали по всему ветхому саду. Там и без того грязи по колено.

Я не знакомилась с новыми владельцами. Эдвард предложил мне вместе с ним поехать и показать им дом, когда они уже были готовы покупать, но попросили еще один просмотр. Он сказал, что мне, возможно, будет легче принять присутствие в доме новых людей, если я своими глазами их увижу. А я не хотела принимать ничье присутствие там. Мне было гораздо легче представить вымышленных пафосных злодеев с тонкими усиками и коварных женщин в длинных платьях, скользящих над лестницей в паре сантиметров от пола. Злобных призраков. Бьющего посуду полтергейста. Хлопающие без чьего-либо участия двери. Безликие тени в длинных одеждах

из колючих и цепких шариков репейника, которыми мы швырялись друг в друга в начальной школе.

Но на этот раз я вернулась. Я не входила ни в дом, ни в те части застройки, которые уцелели со времен моего детства. Был воскресный вечер, Бдения подходили к концу, люди собирали вещи, в воздухе пахло попкорном и дизельным топливом, и эти запахи впитывались в живые изгороди вокруг церкви.

Сюзанна познакомилась с какими-то местными ребятами, которым пообещали задешево покататься на какой-то штуке под названием «летающая колбаса», если они досидят до конца дня. Я оставила ее с группой девочек, они сидели в треугольнике тени у грузовика с хот-догами, рвали траву под ногами и бесконечно крутили браслеты на запястьях. Я сказала, что скоро вернусь, однако она не соизволила ответить, так что я отправилась вместе с собакой к Зеленой часовне, чтобы возложить свой традиционный букетик.

Возле места, где наша старая калитка раньше вела на тропинку к реке, кто-то сделал новую белую калитку с маленькой деревянной дверцей и навесом. Почти в нужном месте, но не совсем. От ворот тянулась извилистая дорожка, усыпанная гравием, с деревянными бордюрами, вдоль которых тянулись заросли декоративного лука, штокрозы и прочих пышных растений.

Из-под забора и прямо из-под гравия росла мамина мята. Та мята, которую полагалось выращивать в контейнерах, о чем она не знала, так что растение рассеялось, разрослось вширь и ввысь, прокладывая себе путь под живыми изгородями и оградами.

За извилистой дорожкой виднелась рыжая кирпичная садовая стена со шпалерами, на которые опирались яблони. В дальнем конце виднелась полуоткрытая деревянная дверь, выкрашенная ярко-зеленой краской. Моя собака с любопытством тянула поводок, пытаясь что-то понюхать под забором.

В нескольких шагах позади кто-то катил от реки тачку, и мне пришлось шагнуть за ворота, чтобы пропустить этого человека. Но он не стал идти по дорожке, а направился ко мне и остановился:

— Извините, но мне как раз сюда надо пройти. Вам придется отойти вот сюда.

Вот так я и познакомилась с новым хозяином. Перегородив ему путь в его собственный сад. Когда мы поменялись местами

и я распутала собачий поводок, зацепившийся за тачку, я уже успела вслух восхититься и новой калиткой, и кустиками декоративного лука вдоль тропинки, и даже отдернуть собаку, которая пыталась облизывать его резиновые сапоги. Тут до хозяина дошло, кто я такая. Сестра Джо, сказал он.

В каком-то смысле я не удивилась. Джо заводит друзей везде, где появляется. Едва он пошел в школу, как я превратилась в «сестру Джо». Очень часто в кухне нового дома толкуются люди, для которых я тоже «сестра Джо». Но, с другой стороны, удивляться было чему. Если я никогда не видела новых хозяев, то как это удалось Джо? Неужели он всю жизнь приезжал сюда и поддерживал с ними дружбу, пока мы навсегда отстранились от этого места? Неужели все это время нам всем были бы здесь рады, и только я упрямо игнорировала этот факт?

— Ты, наверное, приехала на Бдения? Антония в саду. Идем, познакомлю. Надо же, сестра Джо! Она будет очень рада!

Я пошла за ним мимо садовой стены и старой кухни, где его жена собирала позднюю малину под окном в одних шортах и топе от купальника. Когда она услышала, что в гости пришла сестра Джо, то направилась с улыбкой нам навстречу, потом вспомнила, что толком не одета, сунула мне в руки миску с ягодами и убежала в кухню за футболкой.

Аромат ягод смешался с солоноватым запахом нагретых вечерним солнцем стен, а от самой Антонии пахло солнцезащитным кремом и парфюмом. Я ощущала эти запахи прямо кожей, а не носом и языком. Они будто бы волной поднимались от самых ног. Я чувствовала, что наполняюсь этими ароматами, и понимала, что когда эта волна достигнет глаз, то прольется слезами. Я изо всех сил старалась удержать ее хотя бы на уровне груди, топая в дом вслед за Тедом и неся миску с малиной, аромат которой проникал мне прямо под ребра.

Потом, в саду, Тед рассказал, что они с Антонией купили этот дом у тех, кому мы его продали изначально. Та семья прожила в доме около десяти лет. Антония и Тед работали адвокатами, обе их дочери теперь тоже учились на юридическом; в целом, понятно, откуда у этих людей деньги, чтобы так красиво тут все обустроить. Тед сказал, что его дочери выросли здесь, играя в саду. Вот домик на дереве, который он

для них построил, а вот тут они держали ослика по имени Клайв из Индии — он уж и не помнит, почему животное так назвали.

— У вас тут тоже жил ослик? Нет? Мы в сарае нашли повозку для ослика. Видимо, прошлые жильцы оставили. Мы подхватили идею. Но боже мой, эти ослы! От них столько шума. А Клайв был такой упрямый, что его даже запрячь ни разу не удалось.

Я сказала, что у нас были куры и утки. Он даже как будто огорчился.

— То есть повозка точно не ваша? Может, она тут появилась еще до вас? Мы почему-то были уверены, что она ваша. Нет?

Будто бы желая освежить мою память, он указал на сарай — обновленный, красивый, совершенно безопасный. Все старые изобретения деда Мэтью оттуда убрали, пол покрасили. Вот как они познакомились с Джо — он попросил разрешения приехать и посмотреть, что там осталось из дедовых вещей, потом помог все инвентаризировать и передал в какой-то малоизвестный технически музей.

Тед в шутку сказал, что за пятнадцать лет жизни здесь их в деревне мало-помалу начинают принимать за своих. Пятнадцать лет! То есть они с женой прожили здесь на два года дольше, чем я в свое время! Почти столько же, сколько здесь успели прожить мои родители! Как так получилось? Неужели никто из этих людей не понимал, что этот дом — мой?

Из дома вышла уже переодетая Антония — в цветастой рубашке с поясом и розовых льняных брюках.

— Идем в теплицу, — сказала она. — Мы построили за домом отличную теплицу. Выпьем чего-нибудь прохладненького. Такой день!

Если при слове «теплица» вам представляется белая пластиковая конструкция на заднем дворе, где хранится собачья подстилка и старые отсыревающие игрушки, то подумайте еще раз. Эта теплица была больше похожа на оранжерею. Или на ботанический сад. Она представляла собой причудливое деревянное строение со сложной остроконечной крышей и флюгером в виде дракона.

— Ты помнишь этот флюгер? — спросил Тед. — Мы нашли его в сарае. Он точно лежал там еще с ваших времен. А то и дольше.

Я не помнила никакого флюгера. Похоже, я их кругом разочаровала.

Антония взгляделась в мое лицо, определенно высматривая сходство с Джо.

— Когда Джо приезжал сюда в прошлый раз, ему удалось укротить нашу собаку. Такой пес — никак с ним было не совладать. А за Джо он буквально по пятам ходил. Он бы с ним и домой поехал, да?

Моя же собака в это время вела себя на редкость безобразно, пытаясь сожрать конский навоз, рассыпанный под розовыми кустами. Но даже без учета собаки они явно успели решить, что я не от мира сего.

Тед покрутил какие-то деревянные колесики на стенах теплицы, чтобы открыть окна в крыше, и я втащила свою собаку-говноеда вовнутрь, где нас уже ждал поднос со стаканами холодного лимонада и поверх кубиков льда плавали листики маминой мяты.

Антония сказала, что Джо изрядно их повеселил, когда приезжал искать коробку с сокровищами, которую зарыл в саду для следующих жильцов. Он закопал ее под яблоней, но ничего не нашел — все давно сгнило и перегнило. Те, кто жили до них, ничего такого не рассказывали, но они и не из болтливых, да.

А я сказала: вы особо не ройтесь под яблонями у забора, потому что там мы когда-то похоронили шесть куриц, причем некоторые были без головы, и это точно не то сокровище, которое хотелось бы найти.

Они и об Эдварде спрашивали — говорили, что видели его по телевизору в передаче о средневековых поселениях и что вся деревня смотрела эту программу — ну как же, ведь в ней участвовал их собственный эксперт. Я сказала — да, замечательно, хотя сама видела только вторую половину выпуска, в которую он даже не попал. Они отметили, что я наверняка горжусь им и всем, что он сделал. Да, сказала я, в его время было мало отцов-одиночек, ему наверняка было непросто. Они смутились, и я подумала, что, наверное, они имели в виду гордость по поводу его учебников и появлений на телевидении.

Тед спросил, не смогу ли я помочь ему раскрыть одну тайну: почему лужайка за домом в сухую погоду немного приподнималась, как будто повторяя очертания какого-то небольшого строения. Мы вышли из теплицы и последовали за ним к стене кухни. О да. Это был он, земляной палимпсест нашей старой прачечной, где валялись и мой

старый трехколесный велосипед, и кукольные коляски, и стопки цветочных горшков, которые должны были пригодиться на следующий год. А теперь там был только прямоугольник чуть более светлой, чем вокруг, травы.

Эти линии в траве меня взволновали. Я сказала: да, тут был уличный сортир. И хлев. Еще тут стояло некое подобие стены, я любила там жечь костерки. Правда, в туалетах и свиньях нет ничего романтического, так что Тед и Антония слегка приуныли.

— Про дом рассказывали истории. Такие, знаешь, типичные старинные истории о домах. Твой брат наверняка ни одну из них не помнит, слишком маленький был. — Антония не сводила глаз с желтоватой травы, да и взгляд Теда из-за очков стал тревожным. Она пытается узнать что-то о привидениях? Или о моей маме? Непонятно.

К тому же на ярмарке меня ждала Сюзанна, так что я сказала: спасибо за угощение, очень приятно видеть дом и участок таким ухоженным, — и потащила собаку прочь от их безукоризненного газона, где она пыталась вырыть яму.

Я никак не могла вспомнить, что раньше стояло на месте нынешней теплицы. Ничего, наверное. Может, там проходила ограда пастбища? Или сломанные опоры старой террасы, расколотые проросшей сквозь них лозой? Или они были у другой стены? Я бы точно прошла мимо них, поднимаясь со стороны реки, разве нет? Хотя я же вошла через калитку, расположенную в другом месте.

Может, я подошла к дому не с той стороны и сама этого не поняла? Почему у меня в голове все так перемешалось? Неужели все мои воспоминания встали с ног на голову, вывернулись наизнанку? Я побежала по тропинке в сторону Зеленой часовни, все еще сжимая в руке цветы и опасаясь теперь, что иду куда-то не туда; может, на самом деле я удалялась от часовни и ярмарки, как бывает в ночных кошмарах, когда оказываешься все дальше и дальше от того места, куда тебе нужно попасть.

Не будут ли призраки Зеленой часовни сердиться на меня за то, что я уношу их цветы? Я вспомнила о погребальном ритуале, когда покойника кладут лицом не в ту сторону, чтобы если его призрак выберется наружу и решит вернуться в свой дом, то будет двигаться в неправильном направлении и заблудится. А еще есть ритуал, когда покойного кладут головой в сторону дома, потому что все знают: когда

призрак поднимается из могилы, то разворачивается на сто восемьдесят градусов. И я никак не могла решить — я тот призрак, который лежал головой в нужную сторону или в обратную, и каким образом я ухитрилась так запутаться, заблудиться и потерять дорогу домой.

Когда это Джо с Эдвардом успели зарыть сокровища для будущих жильцов? Почему они не предложили мне положить что-то и от себя? Хотя они, может, и предлагали, но я отказалась. Почему они поехали закапывать ту коробку без меня? Почему Джо не рассказывал мне, что ездит сюда? Когда он успевал здесь бывать, проводить инвентаризацию в сарае, очаровывать этих адвокатов и их собаку? Почему не звал с собой меня? Почему после стольких лет я все еще вела себя как непослушное дитя, загородив дорогу со своей жрущей дерьмо придурочной собакой, борясь с паникой, слезами и попавшей в нос пылью купыря и думая, почему же у меня не нашлось более правильных, более уместных, ну хотя бы более добрых слов.

За моей спиной кто-то бежал по дорожке, так что я потянула собаку в сторону, чтобы пропустить бегуна. Бегуна в розовых льняных брюках и цветастой рубашке. Антонию. Она остановилась, перевела дыхание. В ее руке был маленький конверт.

— Я что-то обронила? Простите. — Я немедленно начала рыться в карманах, проверяя, что могло выпасть: ключи от машины, от дома, что-нибудь еще.

— Сокровища. Ты ушла, и тут мы вспомнили. Мы же кое-что находили. Видимо, из той самой коробки, которую зарыл твой брат. В сорочьем гнезде была куча обрывков фольги и вот это. Тед вспомнил.

Она протянула мне конверт. В уголке прощупывалось что-то тяжелое, металлическое. Джо говорил, что забыл в том доме машинку, крохотную модельку «меккано». Я открыла конверт. Там лежало что-то непонятное, вроде посеребренной коробочки, буквально сантиметр на сантиметр; по одной стороне тянулся узорчик из листьев, а вся коробочка была испачкана землей и песком.

— Узнала?

— Простите, нет. Думаю, Джо знает, что это такое.

— Передавай ему приветы. И от Ральфа тоже.

— От Ральфа?

— От нашего песика.

— А, да. Спасибо. И за сокровище, и за лимонад.

Она развернулась и побежала назад по тропинке, помахав на прощание.

Я вспоминала свои сокровища, которые прятала в саду — можно было о них расспросить, но я не стала. Зуб даю, что те кусочки фольги, которые они нашли в сорочьем гнезде — это монетки, которые я вырезала для игры в развеселых цыган, чтобы швырять их из окна своей спальни, распевая: «И денежки мне не нужны, о!» У меня не было коробки с надписью «Сокровища», зарытой под деревом, но были потерянные туфли, и косички из шелковых нитей, и бумажные трубочисты, и тайные двери в мир фей, вырезанные на корнях деревьев и раскрашенные с помощью коктейльной трубочки, кончик которой я макала в краску.

Я могла разыграть весь сюжет песенки о развеселых цыганах — от окна спальни, где я пела первый куплет, высовываясь и высматривая, не поют ли у ворот цыгане, потом сбрасывая туфли на высоких каблуках — испанские, о! — по пути к задней двери и наружу, куда я мчалась на верном пони, в роли которого выступала покосившаяся яблоня с натянутыми вместо вожжей веревками, и дальше в поле, где можно было лежать под звездами и слушать их прекрасную песнь.

А где-то позади, играя скучную роль покинутого супруга, оставалась моя мама; она старательно притворялась, что не видит, куда я подевалась, и напевала надтреснутым голосом: «Он мчался вперед и он мчался назад, на север скакал и на юг», носилась по всему саду из угла в угол в резиновых сапогах, а потом находила меня и специальным строгим тоном пела партию супруга:

Что же ты бросила земли и дом,
И муженька своего?
Деньги расшвыривая за окном
Для развеселых цыган, о!

А я демонстративно вскакивала на ноги, упирала руки в бока и пела в ответ:

Мне наплевать на земли и дом,
На муженька своего!
Деньги — пустое, когда за окном
Толпа развеселых цыган, о!

Мне годами не приходило в голову, что любимая песня моей мамы посвящена побегу из дома, в который не берешь с собой ничего, даже обувь. И даже когда муж ищет тебя повсюду, скачет на север и юг, на запад и на восток, ты отказываешься от него. Зачем тебе вся эта чепуха? Зачем тебе простыни, туфли, деньги, высокие перины, золото? Зачем, если можно просто лежать в траве и слушать дивные песни?

Если бы я могла снова разыграть всю эту песню, я бы разыграла ее — с реквизитом и костюмами, я бы выгрызла ее из-под их идеальной террасы, из-под корней на давно исчезнувших грядках и скелетов похороненных бентамок, я бы пела, пока не окажусь в том поле и не встану перед собственной матерью, и не потребую ответа за ее побег.

Как ты могла оставить свои земли и дом? Свою дочь? Своего крохотного сына?

Я бежала к ярмарке с пыльцой в глотке, с полным носом запахов дизеля, попкорна и хот-догов, я думала о Сюзанне, которая катается с новыми знакомыми на «летающей колбасе», третьей в маленькой машинке и единственной не местной, и размышляла. А вдруг она испугалась, но постеснялась в этом признаться? Хорошо ли ее приняли, решился ли кто-то похвалить ее прическу или одежду, как обычно делают девочки, когда хотят с кем-то подружиться? Как я ее нарядила в тот день — правильно или нет? Ей понравилось, как я ее заплела?

Я представляла, как она взлетает над церковным двориком, машет своими длинными ножками в брючках из секонд-хенда, украшенных новенькой тесьмой, видит меня, бегущую по тропинке. Может, она

хочет, чтобы я не спешила? Или я, наоборот, уже опоздала? К тому моменту, когда я подошла достаточно близко, чтобы услышать ее восторженный визг и увидеть, как она пролетает буквально над моей головой, я была зла как черт на мою маму.

Вперед, можешь свалить из дома, оставить и свои земли, и своего мужа, и деньги, и свои неудобные туфли вместе со всем, что они олицетворяют, но едва ты дойдешь до развилки — представь, как твой ребенок плачет, просыпаясь без тебя, представь — и молоко само польется у тебя из груди, намочит ткань платья, прилепив ее к животу, и тогда ты повернешь обратно. Сто процентов.

На самом деле это была не мамина любимая песня, а моя. Я любила наряжаться, мастерить драгоценности из фольги, надевать туфли на высоких каблуках и длинное платье, я любила лошадку с веревочными поводьями, я любила эти песенные вопросы и ответы, я любила прятки в саду. Наверное, маму от всего этого уже тошнило, как и от постоянной унылой роли брошенного мужа, ради которой она вынуждена была отвлекаться от стирки, от вымешивания теста, от чистки помидоров, вскакивать в седло воображаемой лошади, чтобы потом быть отверженной посреди пастбища.

Я уже прошла через период, когда моей собственной дочери было пять, шесть, семь лет, и она обожала игру «давай представим». Я точно знаю, как это — отвлекаться от своего основного занятия, чтобы побыть принцессой, а чаще — злодейкой, с рычанием топтать по комнате и стараться не выйти из себя, потому что в это время на плите выкипает рис.

Это я все время пела про бегство с развеселыми цыганами. Мама предпочитала другую историю, в которой надо было сперва ехать на север, потом на юг, потом на восток, потом на запад, а в конце путешествия находить, что искала, — и не свою сбежавшую невесту, а место, которое сможешь назвать домом.

Это история про девочку, которую держала на земле пара железных башмаков. Очень похоже на мою маму, которая выбегала под дождь в заляпанных грязью резиновых сапогах, чтобы успеть до заката найти последнюю курочку и запереть ее в курятнике на ночь. История такая.

Жила-была принцесса, которую с самого детства заточили в высокой башне. Во всяком случае, те, кто передавал ей еду

в маленькой корзиночке, называли ее принцессой. Может быть, она ею вовсе не была. Может быть, она все это придумала от долгого одиночества. Никто точно не знает. Да это и не важно. Она мечтала повидать мир за стенами башни, но оттуда не было выхода.

Однажды в стране началась ужасная война. Люди, которые приносили ей еду, убежали или погибли, да и еды никакой не осталось. Поля стояли выжженными, а животные умирали от голода.

И девочка поняла, что придется искать выход самостоятельно. Земля была далеко внизу, веревку свить было не из чего, так что она решила сделать подкоп через всю башню. Девочка не знала, сколько времени это займет, так что надо было расходовать оставшуюся еду очень экономно.

Чем дальше, тем сложнее было рыть. Очень скоро ее одежда превратилась в лохмотья, израненные руки загрибли, а прекрасные волосы так покрылись пылью и грязью, что проще было их отрезать. У нее закончилась еда, но она знала, что единственная ее надежда — это дальше рыть вглубь, так что она пила дождевую воду, стекающую с крыши, и ела мох и насекомых, ползавших по стенам башни.

Когда она наконец прокопала проход до земли и выбралась наружу, то выглядела совсем не как принцесса.

Она встретила старушку, такую же немощную и грязную, старушка пустила ее погреться у огня, поделилась куском хлеба и сказала: «Придется пару железных башмаков истоптать, чтобы найти то, чего ищешь».

Поутру старушки нигде не было, зато на своих ногах девочка обнаружила железные башмаки. В них было неудобно, да и девочка раньше никогда в жизни никуда не ходила, однако снять их было невозможно, так что пришлось отправляться в путь.

Она шла на север, потом на юг, потом на восток, потом на запад, работала в поле и где угодно, лишь бы заработать на пропитание, ночевала в сараях, и под забором, и с животными в хлеву, чтоб было теплее, пока однажды утром не почувствовала землю под ногами. Ее железные башмаки истерлись, и она стояла босыми ступнями в грязи.

С каким наслаждением она избавилась от башмаков! Она осмотрелась и увидела детей, играющих на развалинах старой башни

и перелезающих через ее разрушенные стены. Вокруг колосились поля, с ферм доносилось кудахтанье кур, хрюканье свиней, а вокруг бродили козы и терлись о заборы.

Она спросила детей, что это за страна, и удивилась, услышав в ответ родную речь. В долгом пути она слышала множество разных наречий. Дети рассказали ей, что когда-то в этой башне была заточена несчастная девочка. Как ей, должно быть, тяжело там жилось. Они сказали, что никто не знает о ее судьбе в годы войны.

Она рассказала им, как выбралась из башни, и они так впечатлились, что повели ее знакомиться с новым королем. Король был рад увидеть ее живой и с радостью приветствовал ее на родине, где она счастливо жила до конца своих дней. А дети все играли на обломках башни и рассказывали всем ее историю, и никто больше никогда не запирает своих детей в высоких башнях.

Ладно, допустим, она немного добавила от себя в этой сказке. Например, в конце. Еще, может, по чуть-чуть в начале и в середине. Но концовка меня вполне устраивала. Когда мама рассказывала мне эту сказку, она в самом конце смотрела по сторонам, на своих кур, копошащихся в траве, на усыпанные ягодами кусты, а потом снимала резиновые сапоги, зарывалась босыми ступнями в траву, и я понимала, что эта принцесса — она, и что она вернулась домой, где будет жить долго и счастливо до конца своих дней, не обращая внимания на руины старой дурацкой башни, о которой никто уже и не помнит.

20

Зеленая часовня



Зеленая часовня



*Соломон Гранди
В понедельник рождён,
Во вторник крещён,
В среду обвенчан,
В четверг покалечен,
В пятницу болен,
В субботу помер,
В воскресенье отпели —
Всего за неделю*

прожил свой век Соломон.

Иногда я не помню о маме ничего. Целыми днями я, бывает, думаю о других вещах — о таких, которые не оставляют места тоске по ней. Я поступаю так нарочно — концентрируюсь на другом. Когда я рисую, то забываю о ней. Я забываю обо всем. Приходится ставить на телефоне будильник, чтобы отвлечься и собрать Сюзанну или приготовить обед. А когда время истекает, когда я возвращаюсь в привычный мир, возвращается и она — проблеском на границе поля зрения, сумрачной пустотой, чувством вины, закрывающейся дверью, легким дуновением, похожим на аромат сада, слабым соломенным привкусом. Отсутствием.

Я неделями с ней не разговаривала. Я бывала в новых местах и не думала о том, что надо рассказать ей обо всем увиденном. Я не дописала свою невозможную книгу о ней, оставляя рукописи на чердаках съемного жилья и забывая достать их из чулана при выселении. Без нее я получила диплом, забеременела и не позвонила ей, фотографировала свою новорожденную дочь и не отправила ей ни единого снимка. Я покинула то место, где знала ее, — во всех смыслах. Между нами пролегло расстояние. Время и я — вот кто его проложил. Мне просто нужно было дождаться, когда это случится само.

Забуть — не самое страшное. Помнить — тоже. Самое страшное — это когда ты забыла, а потом вдруг вспоминаешь. Это ловушка. Ты забываешь на миг, на день, на неделю, на месяц — а когда вспоминаешь, это всегда происходит одинаково. Воспоминания вливаются в лимфатическую систему, и ты вспоминаешь боль. И какая-то часть тебя думает: может, с этой болью уже можно что-то сделать? Это предательство. Себя за такое ненавидишь.

Можно было бы подумать, что я привыкла — ворошить эти воспоминания так, будто вновь и вновь перекапываешь один и тот же участок земли, подбирая те же самые осколки разбитой посуды, выискивая ответы. Но по какой-то причине я не связала ту серебристую коробочку с мамой. Она слишком была похожа на игрушку. Я не помнила, чтобы мама ее носила. И к тому же это Джо закопал в саду коробку с сокровищами.

Возвращаясь с Бдений, мы с Сюзанной заехали к Эдварду и Джо, собираясь сперва заказать какой-то китайской еды, а потом уже направиться домой. Мы сидели все вместе за круглым столом и изучали меню, успели трижды передумать, что заказать, как вдруг Сюзанна вспомнила про конверт.

— Слушай, люди из старого дома нашли что-то из твоих сокровищ.

— О, хорошо. Игрушки?

— Нет, там коробочка. Я принесу из машины.

Сюзанна встряхнула конверт, и из него в корзинку с подсохшими яблоками высыпалось облако песчаной пыли и та безделушка. Джо взял ее, перевернул. Потом сдвинул защелку сбоку, и коробочка открылась. Эдвард сказал: «Ну-ка, минутку. Покажи».

В тот же миг воздух вокруг изменился. Сгустился. Стал неприятным на вкус. Эдвард сжал коробочку в кулаке, потом разжал пальцы. Я вдруг обратила внимание, как состарились его руки: кожа стала сухой и желтой, как пергамент, на фалангах выросли белые волоски, линии на ладонях стали резче. Я накрыла его руку своей, а Джо спросил: «Что это?» Эдвард снова сжал кулак и обхватил его другой рукой, будто боялся потерять.

— Это мамин кулон. Она очень его любила. Они не сказали, где нашли его?

— Сказали. В сорочьем гнезде. Он был на ней, когда она ушла?

— Нет. Кулон потерялся за несколько месяцев до того. Еще до рождения Джо. Мы искали везде, где она обычно копалась, но не нашли. Хотя сад же большой.

— Я этого кулона на ней не видела.

— Нет? Ну, она его иногда снимала.

Джо протянул руку к кулону, сдул с него пыль, открыл и закрыл его.

— А что в нем лежало? Тут чего-то не хватает.

— Это оберег. По традиции в нем хранят молитву. Но бумажка внутри постоянно намокала или пачкалась, ее приходилось постоянно обновлять. Там была только дата, десятое февраля. Она даже его имя не писала.

— День рождения Джонатана? Десятого февраля?

— Да.

— Так ведь ей и незачем было носить его на себе. Неужели она могла забыть, как его зовут?

— Нет. Просто она считала это плохой приметой — записывать его имя. Ну знаешь, будто даешь имя кукле вуду. Называя кого-то, ты будто творишь колдовство.

— Как Румпельштильцхен^[13].

— Именно.

— Значит, вместо имени она записала дату?

— Что-то вроде того. Тоже колдовство, но не опасное.

Джо и Сюзанна обменялись взглядами. Джо сказал: «Кажется, нам всем не помешает поесть. Давайте мы с Сюзи сходим в китайское кафе и принесем еды?» Я взяла Эдварда за руку, и мы с ним сидели, как двое больных, как глубокие старики, касаясь друг друга настолько осторожно, будто слишком сильное рукопожатие могло причинить боль. Они ушли, потом вернулись, вспомнив, что в кафе принимают только наличку, обчистили кошельки всех присутствующих и снова ушли; и Эдвард сказал:

— Ей не обязательно было носить кулон, чтобы помнить его. И день его рождения.

— Знаю, — ответила я. — Но кажется, она его пропустила. Слишком поздно вспомнила. Кажется, в тот год, когда родился Джо, она забыла.

— Но она ушла к реке.

— С опозданием. Она ушла двадцать третьего. На тринадцать дней позже.

Я хотела рассказать ему, что на самом деле мы туда ходили каждый год. Мы брали с собой цветы и свечу в банке. Пели песню. Она рассказывала мне про сэра Гавейна и его путешествие в Зеленую часовню. Я знала, что это полагается делать в конкретный день. Даже если шел сильный дождь, поход не отменялся. Даже если дорогу размывало.

Часто приходилось брать зонтик, потому и банки, и свечи, и спички, и цветы в старой коробке от мороженого — все укладывалось в рюкзак. Мы обували резиновые сапоги, но все равно вязли в грязи. Мы шли через поле, где росли старые плакучие ивы, похожие на огромные клетки — это поле называли Драконьим. Потом первый мост, потом второй.

Я помню, как однажды несла с собой деревянного зайчика. Не знаю зачем. Может, мне так захотелось, а может, мама решила принести ему подарочек в день рождения. Мы пели песни. Песни, в которых чередуются вопросы и ответы, хотя мы шли по дорожке друг за другом и в дождь практически ничего не слышали в капюшонах.

Вот еще двоих бери! Ах, камыш зеленый!
А кого двоих, о?
Чистых, как снег, юнцов, разодетых в зелень, хо!
А один — он един, велик и беспределен, о!^[14]

Я никогда не сомневалась, что наша Зеленая часовня — та самая, именно та, на которую набрел сэра Гавейн, когда путешествовал на север и на юг, на восток и на запад, как девочка в железных башмаках. Она была вся зеленая, покрытая мхом, поросшая крапивой и лишайниками. Она располагалась вдали от любопытных глаз, к ней вела битая-перебитая дорожка, наполовину сползшая в реку. На стенах этой часовни располагались таблички с выбитыми именами умерших. Гавейну пришлось сражаться и с людьми, и с волками, и с медведями. Все, с чем приходилось сражаться нам, — это заросли колючек, грязь и барсучьи норы на дороге.

Мы искали какой-нибудь укромный уголок, чтобы зажечь свечу в банке из-под джема и положить на землю цветы. Мама всегда перевязывала букет цветными нитками. Ее голос звучал немного хрипло и надтреснуто из-за февральского холода. Дождевые капли стекали по нашим спинам и просачивались под воротники. Свеча, конечно же, гасла, мы зажигали ее заново. Дождь заливал мамино лицо.

Все эти походы слились в моей памяти в один. Возможно, не все они были дождливыми. Возможно, иногда мы шли по тропинке за руку, если ее не слишком размывало. Но когда я перебираю воспоминания об этих вылазках, то никак не могу вспомнить ту, когда мы брали с собой Джо.

Если бы мы брали Джо с собой, в тот единственный возможный раз, то, получается, он был совсем еще крошечным, а с коляской по той тропинке никаким образом не пройти. Значит, его пришлось бы положить в слинг, а я бы тогда взяла на себя торжественную обязанность нести все нужное в коробке из-под мороженого.

Джо ненавидел слинг. Всегда в нем плакал. Наверняка он бы орал всю дорогу к реке. Может, мы дождались, когда он уснет, или оставили его дома с миссис Уинн. А может, я не помню, как мы ходили мимо реки к часовне вместе с Джо, потому что этого попросту не было. Может, мы пропустили этот поход. Может, в тот год мы о нем забыли.

Поскольку школьного расписания у меня не имелось, мы постоянно путались в днях. Отличали только выходные — Эдвард был дома. А будни казались неразличимыми. По утрам всегда играло радио, но мы особо не вслушивались. У нас не было графика внешкольных студий и встреч. Кроме того, в тот год мама только-только родила. Она была вымотана, плохо соображала, пытаюсь дотянуть до завтрашнего дня, а потом до следующего. Ее можно понять. Никто не стал бы обвинять ее в том, что она пропустила важную дату.

Я не знаю, беспокоил ли ее призрак моего умершего братика. Призраки умерших детей вообще взрослеют? Может, мама считала, что они завидуют игрушкам и питомцам своих братьев и сестер, что живут в доме своей семьи, наблюдая за подарками на дни рождения и объятиями? Может, они время от времени устраивают фокусы, просто чтобы мы знали, что они по-прежнему рядом?

Оказалось, что единственными нужными нам были вопросы, которые задавали полицейские. Какой был день недели и число? По какой дороге она ушла? Какая была погода? Что она взяла с собой? Вот так напрямую, в лоб.

И еще я поняла, что все время искала объяснение маминого исчезновения не в том стихотворении. Я все эти годы читала и перечитывала «Перл», кругами ходила в поисках успокоения, но ничто меня не успокаивало.

Я отмеряла горе годами, перечитывая историю о сломленном человеке, спорящем в саду с Богом. Я перебирала строфы, как четки, повторяя в голове их странное звучание, бесконечно рисовала незавершенные образы сада и грядок, берега реки, покрытые

блестящей грязью, гальку в ручье, сверкающую, как драгоценные камни, берега, вдоль которых стоят дети в белых небесных одеяниях. Я шла за рассказчиком из сада к реке, через дальнюю калитку, чтобы проснуться в том же саду и начать путь заново. Успокоение не приходило. Каждый раз, когда я перечитывала «Перл», нужно было на самом деле подумать о том, как сэр Гавейн добирался до Зеленой часовни.

Мама страшно уставала с новорожденным. Дни и ночи сливались в сплошной ливневый поток в стенах дома, соединялись, как поля в половодье, когда участки один за одним уходят под воду, и даже изгороди превращаются в мрачные тени в толще серой воды. Она так уставала, что Эдвард приглашал миссис Уинн, в присутствии которой мама могла лишний час поспать вместе с младенцем, а миссис Уинн в это время присматривала за мной и занималась стиркой или другими тихими домашними делами, чтобы не потревожить спящих. Мама так уставала, что не понимала, какой сегодня день недели, не говоря уж о числах. Не факт, что она помнила, что на дворе февраль и хорошей погоды в ближайшее время не предвидится.

А что, если она просто однажды взглянула на календарь, и до нее вдруг дошло, что она пропустила его день рождения? Может, она просто сорвалась с места и побежала — без резиновых сапог, без дождевика, без свечи, без песни, без цветов — с прилипшими к лицу волосами и в слезах вперемешку с дождем?

Допустим, она добежала до затопленной тропинки — ботинки тяжелы от налипшей грязи, одежда цепляется за кусты, руки исцарапаны, потому что она хватается за что попало, чтобы не упасть на скользкой дороге? Что дальше? Она пойдет в Зеленую часовню молиться о прощении вместе со сказочным зеленоликим рыцарем? Но неуспокоенные не знают прощения. А новорожденные не делают поправок и не относятся к тебе с пониманием. Всему есть своя цена. А неустойка должна быть погашена.

К тому времени, когда она добирается до реки, она уже почти утопленница — так промокла. Она не чувствует ног. Ее руки все в занозах, покрыты ссадинами и грязью. Мостик уходит в воду. Она уже не думает об осторожности, а просто идет вперед, наперерез течению, в сторону виднеющейся на другом берегу часовни. Она

сдается на милость реки. Она отдается воде. Но вода безжалостна. Как всегда.

Маленький ангелочек на том берегу вырос в десятилетнего мальчика — он стоит там, весь в белом, сияющий, словно камни на дне ручья. Он велит ей вернуться: иди домой, возвращайся в сад, не переходи на эту сторону. Он пытается отправить ее обратно в реальную жизнь, но его голос уносит мощным речным течением в страну мертвых.

Ее уши заливают тяжелая вода, а глаза совсем красные от слез и недосыпа. Не было у нее никаких намерений. Ничего она не планировала. У нее был только ужас, который испытывает тот, кто что-то забыл, а потом вспомнил. Ей не хочется покидать никого из своих детей. Она хочет любить их всех, просто один из них — на другом берегу реки, и до него никак не дотянуться.

Она не намеревалась нас бросать. Она нас любила. Ее вытолкнуло за дверь и понесло к реке не желание нас оставить. Это была любовь к умершему сыну. Поток, который утянул ее под мост и дальше в открытые воды, был течением памяти, ядом, бегущим по сосудам, жутким холодом внезапного вспоминания о забытом.

Я встала и заварила чай в мамином любимом коричневом чайнике. Мы разлили чай в сувенирные чашки из Скарборо, которые стояли в шкафу, когда мы сюда переехали. Такие себе поминки, да? Два человека за чайником чая — конец августа, выходной, небо упорно отказывается темнеть, занавески раздвинуты. Никакой пыли в руках, никакой поэзии, никаких песен. Ни надгробной речи, ни обещаний вечной жизни. Поминки длиной в короткий путь до забегаловки в конце улицы и обратно.

Джо и Сюзанна влетели в дом в вихре бодрости и сладкого запаха глутамата натрия. Они разложили на столе контейнеры из фольги, Джо взял мамин серебряный кулон и спросил: «Убрать куда-нибудь, чтоб не потерялся?», но ни я, ни Эдвард не смогли произнести ни слова. «Я пока положу его обратно в конверт, ладно?»

Когда мы поели, Джо сказал:

— Вы всегда говорили, что устроим похороны, если найдем хоть что-то, что можно похоронить. Может, это подойдет? Можно же похоронить кулон? Пора бы уже и ей обзавестись собственным надгробьем.

Да, можно заменить истлевшую бумажку внутри серебряного оберега, можно написать его имя золотом, как в той песне. Можно похоронить кулон рядом с могильным камнем ее сына и поставить там надгробье и для нее. Сюзанна выберет одного из резных ангелов, стоящих на лестнице, и положит его рядом с могилкой. Я спою «Зеленую тропку». Мы посадим там лимонник или лаванду. В следующем году на Бдениях в списках усопших прочитают и ее имя — вместе с теми, чьи останки были похоронены на церковном кладбище за прошедшие двенадцать месяцев. Маргарет Браун, усопшая.

21

Проблема со счастьем



Проблема со счастьем



*Зеленая тропка,
Трава зелена.
Моя ты красотка,
Юна и нежна.
Вот всё для тебя —
Молоко и шелка,
И золотом имя
Выводит рука.*

Всем хочется знать, отчего она была так несчастна. Что делало ее несчастной? Они перевернули вверх дном весь дом, выискивая признаки ее несчастья. Не то искали. В поисках ее горя они уничтожили свидетельства обратного. Она была счастлива. Я помню, как она пела. Помню, как она готовила люльку для Джо. Помню, как сияло ее лицо, когда она вынимала его из люльки, целовала в носик, а он смеялся.

Она была счастлива. В этом-то и беда. Она была так счастлива, что разучилась грустить. Ее дни перетекали один в другой, она засыпала на моей кровати, читая мне «Алису», забывала, какую главу мы читали накануне, и перечитывала ее по второму разу, и нас обоих это устраивало; она забывала, с чем мы вчера пили чай, и готовила тот же самый десерт, сама над собой смеясь по этому поводу; она засыпала, кормила ребенка, пекла хлеб, и так по кругу.

Она теряла счет дням и заодно теряла способность отслеживать свою печаль. Когда печаль вернулась, мама оказалась перед ней безоружна. Та коварно подкралась и набросилась на маму с обвинениями: как ты могла обо мне забыть? Как ты смеешь быть счастливой? И мама была слишком уставшей, слишком незащищенной, слишком радостной, чтобы сопротивляться. Печаль выдернула ее из этого счастья, увела ее к реке и утащила под воду.

К нашему старому дому ведет дорога под названием Финсдейл. Фин — так в старину называли дьявола. Получается — дьявольская тропа. Если спросить, откуда такое название, любой скажет, что дело в частых разливах реки. Улица всегда была опасным местом, до того как появился мост. Она не похожа на пристанище дьявола. Тут пахнет диким чесноком. Тут везде растет крапива. Улица темная, извилистая, а чесночный дух буквально разъедает глаза, когда шагаешь через него в резиновых сапогах, сминая яркие листья. Берег реки песчаный — розово-полосатый, мягкий, он легко осыпается и ложится волнами.

В тот год, когда она исчезла, русло ручья было истоптано множеством сапог до красной грязи. Вода стала густой, бурой и мутной. Песчаные отмели на повороте были изрезаны глубокими ямами. На поле у реки стояло стадо быков. Они выстроились сплошной шеренгой пышущих жаром мышц и дышали на нас соленой горячей травой через огромные квадратные ноздри. В движении они

казались сплошной массой мух, и стук их копыт звучал в тишине раскатами грома.

Они истоптали копытами весь берег, превратили его в месиво, уничтожив единственное доказательство того, что мама была там, единственный отпечаток босой ноги на берегу. Когда полицейские прекратили бродить туда-сюда по нашему саду, разбирая сарай, выгребая все из хозяйственных построек, копаясь в бельевых корзинах, книгах, игрушках, стопках рисунков, каталогах семян и во всяких интересных штуках, которые мы прятали в огороде, казалось, что по нашему дому и участку тоже пронеслось стадо быков.

Они все искали какую-нибудь записку. А ее не надо было искать. Этой запиской было все, что она оставила нам. Песни, которые засели в моей голове, сказки, считалочки, разговоры с мертвыми. Чайник, стоящий посреди стола, чтобы дети не дотянулись. Полная корзина обрезков шерсти, чтобы мне было с чем играть, пока она спит. Хлебное тесто, оставленное подниматься на нижнем уровне плиты. Запах свежей мяты, доносящийся сквозь открытое окно. Сушащееся во дворе белье. Закладка в лежащей под моей подушкой «Алисе». Цветная карандашная стружка в мусорном ведре на кухне. Недовязанный полосатый свитер Джо на вырост. Каталоги семян в углу на подоконнике.

Записка гласила: когда малыш проснется, я буду дома. Я спущусь вниз, поблагодарю миссис Уинн за почищенную картошку, выглаженное белье и вымытый кухонный пол. Я испеку хлеб и заварю свежий чай. Я принесу высохшее белье и аккуратно его сложу. Я буду сеять семена, пересаживать рассаду и выдергивать мяту, чтобы освободить место на грядке. Я довяжу этот свитер и дождусь, когда мой ребенок дорастет до него, вырастет из него и дорастет до следующего.

Каждый раз, когда какие-то люди ходили по саду, оставляли на веревках белье, то мокнувшее под дождем, то пересыхающее, когда они роняли пакетики с семенами и позволяли хлебу разбухнуть на всю духовку, когда случайно распускали вязание, — они уничтожали записку. Текст этой записки был во всем, но они все сломали: смысл исчез, аромат мяты втоптался в грязь, хлебный дух превратился в запах квашни, каталоги намokли и слиплись, «Алиса» замерла, страница осталась неперевернутой, свитер распустился.

До ее исчезновения все в моей жизни говорило о счастье. Даже наши ежегодные вылазки в память о моем брате — и те казались мне увлекательным зимним пикником. Но спустя несколько недель после ее ухода все вывернулось наизнанку. Это мы все вывернули в поисках скрытых признаков несчастья. И к тому времени, когда мы додумались остановиться и сказать себе: «Давай-ка аккуратнее, если сломаешь — обратно не соберешь», было уже слишком поздно.

Я как-то проснулась от холода, время едва перевалило за полночь. Из открытого окна на лестнице сквозило, слышался тихий шум машин, и что-то было не так. Собака тоже проснулась, потопталась кругами в своей лежанке, потом снова легла. Сюзанна? Я потянулась, чтобы включить ночник, а потом передумала. Что-то определенно не так. На лестнице слышались шаги, кто-то шуршал носками по ковру и тихонько дышал. Только вот Сюзанна сегодня ночевала у подруги. И приближающиеся шаги не были поступью Сюзанны. Это были мамины шаги. И запах луковой шелухи вперемешку с чайным листом и детской присыпкой был ее запахом — именно эти запахи она всегда приносила с собой, когда приходила подоткнуть мне перед сном одеяло.

Я почувствовала, как она забирается ко мне в постель. Я подумала: может быть, это я так умираю? Может, поэтому у меня так странно ноет в груди? Она пришла за мной. Какое облегчение: скоро все закончится, и на мне не будет никакой вины. Ну никто же не обвинит меня в том, что я умерла во сне.

Она пригладила мне волосы, заправила их за уши. От ее рук пахло нашей старой кухней, мокрым камнем и садом, тугим рыжим бруском дегтярного мыла, ванилью и ее собственной чистой кожей. Ее рука легла мне на грудь — так легко, будто она пыталась убрать синяк, не прикасаясь к коже. Я хотела сказать — я старалась, я, честное слово, старалась, мне так тяжело, я больше не могу — но у меня перехватило дыхание.

Она вдруг обняла меня, и воздух вернулся, сразу весь, я чуть не захлебнулась вдохом, как старый автомобиль, который заводится на холоде. И она сказала:

— С твоим сердцем все в порядке, Марианна. Нет, оно не разбито. И я поняла, что она права.

А потом она исчезла. Я легко и свободно перекатилась на другой край кровати, чуть смятый и все еще теплый после того, как на этом месте лежал кто-то другой, и от подушки пахло мятой, яблочной кожурой и мылом — как всегда пахло, когда она, закончив чтение, выбиралась из моей кровати. Я устроилась на нагретом ею для меня месте и крепко уснула до утра.

Благодарности

Проблема в том, что на написание одной небольшой книги ушла вся моя взрослая жизнь, поэтому благодарить нужно практически всех, кого я когда-либо встречала. Люди предлагали мне время и место в уголках своих домов и садов, чтобы я могла там писать: среди них Джейн и Ник Туси, все центры Арвон и библиотека Гладстона. Иэн Сид из Честерского университета с удивительным терпением возился с книгой на протяжении всей докторантуры. Эллен Эдвин-Скотт и Салли Туси прочитали первый черновик и помогли мне его закончить. Питер Бакман из агентства Ampersand согласился прочесть еще одну версию той же истории, а Саймон Рэй не терял веры в книгу, даже когда ее потеряла я. Сьюзи Никлин и все сотрудники издательства The Indigo Press поверили в рукопись и превратили ее в книгу. А моим детям пришлось жить со мной, когда я одинолично захватила кухонный стол и жила в параллельной реальности как минимум половиной своего сознания.

notes

Примечания

Элизабет Фрай (1780–1845) — медсестра-филантропка, реформировавшая английскую тюремную систему и вошедшая в историю как «ангел тюрем». — *Примеч. ред.*

Персонаж романа детского писателя Леона Гарфилда (1921–1996) «Смит». — *Примеч. ред.*

Речь идет о египетском божестве Таурт. — *Примеч. пер.*

В русском переводе поэма выходила под названием «Жемчужина». Вместе с еще двумя стихотворениями и поэмой о сэре Гавейне «Жемчужина» относилась к рукописи средневековой аллитерационной поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», авторство всех четырех произведений окончательно не установлено. Эти произведения — значимый образец рыцарского романа, где есть типичный для жанра сюжет, связанный с прохождением героем различных испытаний, которые являются проверкой его качеств. — *Примеч. пер.*

Подразумеваются Благовещение, Рождество, Воскресение, Вознесение и Успение, хотя иногда этот список выглядит иначе. Пять радостей Девы Марии часто упоминаются в средневековой литературе.
— *Примеч. пер.*

«Можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить».
— *Примеч. пер.*

Philip Larkin, «This be the Verse». — *Примеч. ред.*

Евангелие от Иоанна 11:35. — *Примеч. пер.*

«У совы отец был хлебник» — цитата из «Гамлета» У. Шекспира в пер. М. Лозинского. Эту реплику произносит Офелия; она отсылает к средневековой легенде о том, что Иисус превратил в сову дочь пекаря, когда она отказала ему в куске хлеба. — *Примеч. пер.*

«Молодой Тэмлейн», или «Том Лин» (англ. Tam Lin) — шотландская народная баллада, иногда приписываемая Роберту Бёрнсу. Повествует о лесном обитателе по имени Тэмлейн, который подкарауливает девушек и забирает у них ценности или невинность. Героиня баллады Дженет срывает в лесу цветок, за что ее журит невесть откуда взявшийся юноша, а по возвращении домой она узнает, что беременна. Девушка возвращается в лес, там узнает, что юношей был Тэмлейн, а нынче королева фей готовит его на роль ежегодной жертвы дьяволу. Дженет удается вырвать Тэмлейна из рук фей, которые превращают его в разных существ, и, когда он оборачивается угольком, девушка успевает бросить его в воду, а потом увезти с собой, тем самым вызволив из плена. — *Примеч. пер.*

Пер. с англ. М. Ковалевой. — *Примеч. пер.*

Барни цитирует шекспировскую пьесу «Мера за меру», где появление невесты протагониста Марианны предваряется словами «в обнесенной рвом усадьбе живет покинутая Марианна» (пер. М. Зенкевича). — *Примеч. ред.*

Персонаж одноименной сказки братьев Гримм, злобный карлик, прядущий солому, чтобы превращать ее в золото. В качестве платы за помощь девушке потребовал от нее отдать ему первенца, однако был готов отменить требование, если девушка угадает его имя. Имя было подслушано и названо, после чего рассвирепевший карлик разорвал сам себя пополам. — *Примеч. пер.*

Героини поют английскую народную песню «Green Grow the Rushes, O!», представляющую собой переключку в двенадцати частях, со счетом от одного до двенадцати. В песенке есть отсылки к христианской тематике, в т. ч. двенадцати апостолам. В большинстве вариантов песни каждый куплет заканчивается упоминанием «единого», т. е. Бога. — *Примеч. пер.*